

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



— 9 —

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Битва за Москву

Сергей Сорокин

Битва за москву 1941 - 9

«Автор»

2026

Сорокин С.

Битва за Москву 1941 - 9 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Битва за Москву)

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосемилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	20
Глава 4	27
Глава 5	34
Глава 6	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 9

Москва 1941 Том 9

Глава 1



— Ладно. Только шестом пусть он гребёт, — он показал на Юдина, — у него руки правильные.

Осипов тем временем ползал по берегу и выбирал, куда мы будем возвращаться.

— Не к пристани, — сказал он, вернувшись. — Пристань открытая, и подход к ней по чистому. Вот тут ниже, за углом сарая, есть выемка, и от неё до двери десять шагов, и всё это время нас стена закрывает.

— Сумеешь дотянуть провод?

— Провод не потащу, — сказал он. — Кабель по воде — это я вам такую наводку сделаю, что сам себя услышу. Я буду на берегу с аппаратом, а от вас сигнал — фонарём в мою сторону, один короткий. Или человеком.

Договорились так: идёт малая разведка — я, Юдин, Рябцев. Остальные — четверо — ждут в сарае, не высываясь. Обратный срок — сорок минут. Если через сорок минут нет ни сигнала, ни нас — вторая группа не идёт следом, а осматривает берег из укрытия и докладывает Мельникову.

— А если вы там будете живы и просто задержитесь? — спросил Сиротин.

— Значит, мы задержимся, — сказал я. — Живые с сорок первой минуты уже не ваша забота. Ваша забота — не пойти всем скопом туда, где нас взяли.

Шли в сумерках, по большой воде, вдоль своего берега, под самым обрывом.

Юдин стоял на корме с шестом и работал им без единого всплеска: втыкал, наваливался плечом, вынимал, ведя вдоль борта, чтобы вода стекала по дереву, а не капала. Я сидел впереди, Рябцев — посередине, сжав мешок между колен.

Плотина выросла из сумерек внезапно.

Она была больше, чем казалась с берега: серая бетонная стена метров сорока в длину, с тремя пролётами водосброса, с решёткой перед ними, забитой прошлогодним мусором и ветками. Справа — бык, на нём машинное помещение: кирпичное, приземистое, с узкими окнами и железной дверью, выходящей на площадку.

Над плотиной шёл гул. Вода перехлёстывала через порог одного из пролётов и падала вниз, и от этого гула вся конструкция казалась живой и нетерпеливой.

Мы подошли снизу, слева, там, где тень от быка ложилась на воду.

И тут Юдин сделал то, за что я его после отдельно похвалил: он не повёл лодку к площадке, куда мы шли по первоначальному плану, а ткнул шестом в берег и придержал.

— Товарищ младший лейтенант. Посмотрите на грязь.

От площадки к машинному помещению шла натоптанная дорожка. И по ней сверху, от дороги, спускался свежий след: два человека, недавно, по мокрой глине, с характерным заносом на подъёме.

— Смена, — прошептал Юдин. — Только что прошли.

Я посмотрел на воду под площадкой. Там, у самого уреза, была ещё одна линия следов — идущих обратно.

— Сменились, — сказал я. — Значит, старые ушли, новые пришли, и новые сейчас самые бодрые.

Мы обогнули бык и пошли к глухой стороне — туда, где у машинного помещения не было ни окон, ни двери, только кирпич и каменный выступ старого причала, про который говорил Игнат.

Выступ оказался на месте. Пока Юдин заводил верёвку за выступ, Рябцев держал лодку руками за камень, и это было тяжелее, чем грести, потому что струя действительно клала вправо и требовалось всё время выправлять, — но зато не стукнуло ни разу.

Дверь была с торца. Створка железная, на петлях, приоткрытая на ладонь.

Я присел у порога и посветил под ладонью в щель.

Порог был в грязи, и по грязи шли отпечатки — внутрь. Несколько пар, наложенных друг на друга, и все внутрь.

Ни одного наружу.

— Там кто-то есть, — сказал я.

— Может, вышли по другой стороне, — шепнул Рябцев.

— Может. Но мы будем считать, что есть.

Мы вошли по одному, с промежутком в пять шагов.

Внутри было почти темно и очень шумно — весь корпус гудел от воды, и в этом гуле можно было говорить вполголоса, и я впервые за неделю не боялся собственных шагов.

Первая комната была пустая: чугунная станина без машины, разбитый распределительный щит, кучка соломы в углу, пустые консервные банки. Немцы тут явно ночевали и уже перестали.

Юдин остался у двери — смотреть дорожку караула. Осипов, который остался снаружи, на берегу, был от нас в ста восьмидесяти метрах и в другом мире.

Провода мы нашли сразу.

Они шли поверху, по стене, прихваченные скобами, и уходили в проём во внутреннее помещение — туда, где начинались механизмы затворов.

Рябцев поднял руку и остановил меня.

— Не трогайте ни одной жилы, — сказал он. — И ногами по полу не шаркайте.

Он пошёл вдоль провода, светя в кулак, и я шёл за ним.

Во внутреннем помещении стоял механизм подъёма — редукторы, штурвалы, вертикальные штанги, уходящие вниз, в шахты, к затворам. Всё было в масле и ржавчине. Тут же, у левой стены, лежал ящик, а от ящика вверх и в сторону уходил кабель.

Рябцев присел над ящиком и долго смотрел, не притрагиваясь.

— Заряд, — сказал он наконец. — На затворе. Вот тут, на штанге, и вот тут ещё. Они хотят не плотину валить, они хотят затвор выбить, чтоб уж наверняка открылось.

— А на самой плотине?

— А на самой плотине я вам скажу, когда посмотрю.

Мы прошли в дальний конец, где в стене был проход на тело плотины — узкий, со ступенями вниз. Оттуда несло сыростью и брызгами. На мокрых ступенях темнела глина от сапог: видимо, караул выходил этой стороной. Мы всё равно продолжали считать комнаты занятыми, пока не осмотрели их сами.

Там, на средней опоре, был второй заряд. Его было видно даже от прохода: связка, прикрученная к арматуре, и от неё вниз, к воде, — провод.

— Два, — сказал я.

— Два, — сказал Рябцев. — И я вам, товарищ младший лейтенант, сейчас скажу неприятное.

— Говори.

— Я не знаю, сколько их всего. — Он повернулся ко мне, и в ответах фонаря лицо у него было очень молодое и очень серьёзное. — Я вижу два. Я могу посмотреть эти два. А сколько ещё в шахтах, под водой, в теле — я не вижу и сегодня не увижу. Мне бы сюда день и сухо.

— Дня нет.

— Я знаю. Дайте мне время на то, что доступно. Полчаса. Я прослежу вот эту линию и пойму, откуда её замыкают. Если управление близко — есть шанс.

— Полчаса у тебя есть.

Я вернулся к двери, к Юдину.

— Что?

— Двое, — сказал он, не поворачивая головы. — Ходят по площадке. Один стоит у угла, второй раз в пять минут спускается к воде и возвращается. У них там ещё кто-то в будке, я слышал голос.

— К нам не ходили?

— Пока нет.

Я взял фонарь, прошёл десять шагов по берегу под стеной, туда, где меня не видно с площадки, и дал Осипову один короткий проблеск в сторону сарая.

Через три минуты от сарая мигнуло в ответ.

Это значило: слышу тебя, живы.

А потом я сделал то, чего мне очень не хотелось делать: подошёл к воде, вынул из планшета заранее приготовленный клочок и написал на нём то, что было правдой, а не то, что было бы приятно.

«Зарядов два, видимых. Сколько всего — неизвестно. Обезвредить не гарантирую. Начинайте пруд».

Клочок унёс Юдин — в лодке, один, шестом, вниз по струе, и вернулся через двадцать минут, мокрый по грудь.

Позже Мельников мне рассказал, как это приняли на берегу.

Игнат, прочитав через плечо Осипова, сказал только:

— Ну и слава богу, что не врёт.

И пошёл собирать людей к старому шлюзу.

Потому что вот это и было главным решением того вечера, и принято оно было не мной одним: мы перестали ставить всё на то, что сапёр успеет.

Рябцев вернулся через двадцать пять минут — он даже не потратил свои полчаса.

— Пойдёмте, — сказал он. — Покажу.

Мы прошли к проходу на плотину, и он присел и показал на связку у опоры — ту, которую было видно от самой двери.

— Вот эта, — сказал он. — Смотрите, как она прикручена. Проволокой, в два оборота, без затяжки. Провод идёт открыто, по бетону, ничем не прихвачен, и заведён сверху, где его любой увидит.

— И что?

— А то, что так не ставят, когда хотят взорвать. — Он поднял на меня глаза. — Так ставят, когда хотят, чтобы пришёл дурак и начал крутить.

У меня по спине прошло холодом.

— Ловушка?

— Не обязательно ловушка. Может, просто показуха: мол, вот тут заряд, вот его снимай, а мы пока со второго всё сделаем. — Он мотнул головой назад, к механизмам. — Вот тот, у затвора, — настоящий. Там кабель в трубе, труба утоплена в стену, и идёт она не сюда, а туда. — Он показал вверх, к дороге, к будке.

— К посту.

— К посту. И вот до того места я дойти не могу. Там караул, там открытое, и там их машинка.

Он не стал снимать открытый заряд. Я сначала не понял и спросил.

— Сниму — они утром увидят, что он снят, — сказал Рябцев. — И поймут, что тут были. И тогда они рванут не завтра, а сегодня ночью. А так пусть висит.

Юдин от двери шепнул:

— Один пошёл к будке. Второй у угла, смотрит вниз, он меня почти видит.

Я подошёл и посмотрел.

Немец у угла действительно стоял так, что до него было шагов сорок и он был спиной. Я почувствовал, как у меня сами собой напряглись пальцы: его можно было взять. Взять живым, тихо, вдвоём, и он бы рассказал про будку, про машинку, про срок.

Я удержал Юдина за плечо у самого проёма.

— Не надо, — шепнул я ему в ухо, и он замер.

— Я тихо.

— Юдин. Если он не вернётся к смене, они поймут, что мы тут. И тогда они не побегут его искать, они замкнут.

Он выдохнул через нос и опустил плечи.

— Понял.

Наблюдателя с высокого берега вызвал Осипов через двадцать минут после того, как мы вернулись в сарай.

Он снял наушник и сказал, глядя на меня:

— Товарищ младший лейтенант. С поста на высотке докладывают: у будки на дороге движение. Вытащили катушку. Разматывают к плотине.

— Точно катушку?

— Он говорит: «разматывают что-то на барабане». — Осипов помолчал. — Может, и не запал. А может, и запал.

И вот тут мы перестали спорить о часах.

Потому что спор о том, сколько у нас осталось — сутки или три часа, — не давал ничего: работа у шлюза занимала столько, сколько занимала, и начинать её надо было немедленно в обоих случаях.

Сиротин, услышав приказ отходить от плотины, вдруг сказал громко и обиженно:

— Так мы что же, зря ходили? Мы их так и оставим?

— Не зря, — сказал я. — Мы теперь знаем, где настоящий.

— И что толку, если мы его не сняли!

Я не стал ему объяснять при всех, потому что объяснять надо делом.

— Бери мешок, — сказал я. — Пойдёшь с Рябцевым. Понесёшь инструмент и будешь ему светить.

Сиротин подхватил мешок обеими руками, перекинул лямку через плечо и встал за сапёром. Рябцев молча поправил ему тяжёлый конец: так инструмент не бил по колену.

Отходили тем же путём. Рябцев обозначил дорогу, по которой мы уже проходили, и велел идти по своим же следам — не потому, что там мины, а потому, что там точно есть дно.

Я вышел последним, дождавшись, пока пройдёт пара, которая держала выход.

Наблюдение за машинным помещением мы оставили — двоих на берегу, с приказом смотреть и не вмешиваться. Держать его дольше, оттягивая людей от шлюза, было нельзя.

Уходя, я один раз обернулся.

Плотина стояла в темноте серой полосой, и над ней шёл ровный гул падающей воды, и в этом гуле было что-то до обидного спокойное: она стояла тут двадцать лет, её строили люди, и теперь двое наших и двое немецких суежились вокруг неё, каждый со своим замыслом, а ей было всё равно.

К Седову я пошёл сам, ночью, и это было правильно: такие вещи через связного не передаются.

Его взвод сидел на гребне — длинной сухой гриве, которая шла над низиной и упиралась в лес. Оттуда просматривалась и дорога, и мельница, и хозяйственный пруд, и всё, что мы собирались делать.

Седов встретил меня у своего окопа, стоя, не предлагая сесть.

— Ну?

— Мне нужно, чтобы ты держал гребень до конца работ у шлюза.

Он засмеялся коротко, без веселья.

— То есть я сижу, а ты работаешь.

— Да.

— Гринёв. — Он шагнул ближе. — Скажи мне честно, как человек человеку. Завтра в сводке будет что? «Взводом такого-то сорвано затопление, обезврежена плотина». Такого-то — это ты. А я что? Я — «взаимодействующее подразделение»?

Я мог бы сказать ему, что мне плевать на сводку. Это было бы враньём наполовину, и он бы это услышал.

Поэтому я вынул карту и присел с ней на корточки под плащ-палатку, и он присел рядом, и я зажёл фонарь.

— Смотри. Вот шлюз. К нему два подхода: по дороге от мельницы и вот по этой канаве, вдоль ольшаника. Дорогу я закрою сам, у меня там люди.

— А канава?

— А канава выходит вот сюда. — Я провёл ногтем. — В спину тем, кто будет стоять у привода. Люди у привода — это Игнат, двое стариков и мой сапёр, и они все будут стоять спиной к канаве и смотреть на железо. Если по ней кто-то пройдёт, они этого не увидят и не успеют.

Седов смотрел на карту. Я видел, как он считает — не славу, а расстояние.

— Сколько вам нужно времени?

— Не знаю. Час. Может, три.

— Час или три, — повторил он, отодвигая фонарь от глаз. — Ладно. Кто мне скажет, что сапёры и рабочие вышли? Я не намерен сидеть тут до утра из-за того, что ты забудешь послать человека.

— Тебе скажет мой замыкающий, по фамилии Дьячков, и скажет лично, в глаза, а не через третьих.

Седов помолчал.

— Хорошо, — сказал он. — Иди работай.

И потом, когда я уже отошёл шагов на пять, сказал в спину:

— Гринёв. Огонь переносу и отхожу я сам, без твоих советов.

— Само собой.

Позиции он выбрал сам, и позже, когда я увидел их днём, я понял, что выбрал он их лучше, чем выбрал бы я.

Один окоп на самом виду, на гребне, где его должны были заметить, — и в нём Седов оставил только наблюдателя. Основной пулемёт он поставил в стороне и ниже, в кустах у старой воронки, откуда канава простреливалась во всю длину, а самого расчёта снизу было не видно.

Немцы полезли по канаве около четырёх утра.

Я этого не видел — я был у шлюза, в семистах метрах, — я это слышал: сначала одиночный выстрел с гребня, из того окопа, где наблюдатель, потом пауза минуты в полторы, потом длинная очередь снизу, из кустов, оттуда, откуда никто не ждал.

Позже мне рассказали, как было.

Седов пропустил их до середины канавы и дал первый выстрел с дальнего края — так, чтобы они решили, что их заметили сверху, и прижались ко дну. Они прижались. И тогда ударил пулемёт с фланга, вдоль канавы, и им стало негде лежать.

Они откатились. Двое молодых из его взвода выскочили и хотели идти следом, и Седов вернул их матом и за шиворот.

— Куда? У меня за спиной люди работают. Они уйдут, а с ними уйдёт и мой сектор.

Он не пошёл за ними и не дал никому пойти, и это было, если считать по-честному, самое трудное решение той ночи, и принял его не я.

Старый сброс лежал в трёхстах шагах ниже мельницы.

Я, честно говоря, до того вечера вообще не знал, что он есть. С дороги его было не видеть: заросшая ольхой и бузиной ложбина, старое русло, забитое хворостом и прошлогодней травой, и в её начале — вросшая в берег кирпичная кладка с деревянным щитовым затвором.

Игнат подвёл к нему фонарь.

— Вот, — сказал он. — До двадцать шестого года мельница на нём стояла. Потом перемычку насыпали, воду на ручей отвели, а сброс так и остался. Его раз в год открывают, когда лишняя вода.

— Когда открывали последний раз?

Он пожевал губами.

— В тридцать девятом. Может, в сороковом.

Рябцев обошёл кладку, спустился, посветил, залез по колено в воду, потрогал рукой пазы.

— Затвор целый, — сказал он, вылезая. — Деревянный, дубовый, разбух, но целый. Подъёмный. Вот винт, вот привод. — Он покрутил рукой воображаемое колесо. — И вот вам плохая новость: винт закис. Его не крутили два года, и он в грязи, и вся резьба в ржавчине.

— Разработать можно?

— Можно. Времени не знаю сколько.

Дальше чуть не случилась та самая глупость, которая губит больше дел, чем немцы.

Бойцы — молодые, здоровые, злые от бессонной ночи — тут же полезли к приводу все разом. Четверо схватились за рукоять, пятый пристроился сзади, кто-то уже кричал «раз-два».

— Стой! — заорал Игнат так, что все отскочили. — Стой, окаянные! Сломаете — я вам его руками не подниму!

Он растолкал их и вытащил вперёд сухонького мужичка лет пятидесяти в ватнике.

— Вот. Аким. Он у меня на этом сбросе с тридцать первого года.

Аким подошёл к приводу, не торопясь, снял рукавицы — один из подносчиков дал ему свою толстую пару на переноску инструмента — и потрогал рукоять голой рукой. Потом попробовал повернуть — чуть-чуть, туда-сюда, миллиметра на два.

— Живой, — сказал он. — Ходит. Но не пойдёт.

— Почему? — спросил я.

— Потому что вода давит, — сказал Аким. — Щит-то не сам по себе. На нём вода стоит, он в пазы вжат. Ты его тащишь вверх, а он трётся об пазы всей водой, какая на него легла. Тут сила не в руках.

Я убрал из-под навеса всех лишних.

Остались Аким, Игнат, ещё двое местных — те, что помоложе, для смены, — Рябцев и один боец, чтобы подавать инструмент. Остальных я отвёл назад, к ольшанику, и поставил смотреть на дорогу и на канаву, и это была не обидная работа, хотя двое надулись.

Первую попытку сделали как положено: смазали что было — Игнат принёс бутылку с ружейным маслом и керосин, — прошли резьбу проволоочной щёткой, надели на рукоять трубу для удлинения и навалились втроём.

Труба гнулась. Винт не шёл.

— Ещё! — крикнул кто-то от ольшаника.

— Не «ещё», — сказал Аким, отпуская и вытирая лоб. — Мы его сейчас сорвём, и всё. Вот тут, я думаю, и решилась вся ночь, и решилась она не силой.

Игнат присел на корточки у кладки, сунул руку в воду, поводил ею вдоль щита и сказал:

— Рябцев, поди сюда.

Аким не дал ему договорить:

— Через малую стравим. Если ещё цела.

— А чем ты её выберешь? Там глина с досками, — отозвался Игнат.

Рябцев присел рядом с ними и направил фонарь вдоль паза. Аким держал его за ворот, пока он ощупывал край.

— Доступ есть, — сказал сапёр. — Только винт пока оставьте.

Игнат поднял мокрую руку и повернулся ко мне:

— Малую надо открыть.

— Какую малую?

— Тут у щита сбоку лаз есть, маленький, на четверть. Вроде окошка. Его для того и делали: сперва малую открывают, вода пошла — напор упал — тогда и большой щит идёт.

— Так открывайте.

— Он заложен, — сказал Игнат. — Досками и глиной. Его лет двадцать никто не трогал.

Малую секцию отбивали час.

Это была отдельная, отвратительная работа: по пояс в ледяной воде, в темноте, ломом и топором, по слежавшейся глине, вбитой между досками, и отбитое надо было выгребать руками, иначе оно тут же оседало обратно.

Глава 2



Первым влез Аким. Через двадцать минут он стал синий и перестал попадать топором, и его вытащили, и вместо него полез Игнат.

— Игнат Прохорович, вам шестьдесят.

— Мне шестьдесят четыре, — сказал он, стаскивая полушубок. — И я тут щенком лазил. Держите лампу.

Его хватило на пятнадцать минут. Потом лез один из молодых, потом Рябцев, потом опять Аким, отогревшийся у костерка, который мы всё-таки разрешили развести за кладкой, в яме, под плащ-палаткой.

Рябцев, вылезая в третий раз, сказал, стуча зубами:

— Товарищ младший лейтенант, у нас одна беда. Мы шумим.

— Знаю.

— Если у них наверху есть уши...

— У них наверху вода шумит громче нас.

Я сказал это уверенно, а сам всё время слушал: не там, где стучал топор, а выше, где был гребень. И когда оттуда ударил первый выстрел, а потом очередь, я на несколько секунд перестал дышать.

Потом от олышаника прибежал связной от Дьячкова:

— Товарищ младший лейтенант! Сосед докладывает: по канаве шли, отбили, потерь нет, сектор держит.

— Передай: спасибо. И передай, что мы ещё не кончили.

Малая секция пошла в половине шестого.

Сначала из-под щита свистнуло, потом плюнуло грязной струёй, потом лаз открылся весь, и вода пошла в старое русло — сначала мутным языком по хворосту, потом шире, шире, с шорохом поднимая прошлогоднюю траву.

Люди на берегу заорали.

— Тихо! — сказал Аким. — Рано.

Мы ждали сорок минут. Это было самое трудное: стоять и ничего не делать, пока вода уходит.

Игнат в это время сделал вещь, которая мне потом очень пригодилась в жизни. Он отыскал на кладке старую чугунную скобу, вбитую ещё при постройке, и сказал:

— Вот. Мерить будем по ней. Не по палке, палку унесёт, а по ней.

И мы стояли и смотрели на эту скобу. Сперва вода была вровень с её верхним краем. Потом появилась мокрая полоска в палец. Потом в два пальца.

— Идёт, — сказал Аким.

Ко второй попытке подготовились иначе.

Аким сам расставил людей: двоих — на рукоять, одного — с трубой, Рябцева — с ломом у паза, чтобы сдвигать щит, если заест, и одного на подаче.

Опору для рычага он сперва поставил на кирпичный уступ, но Игнат остановил его:

— Не туда. Тут кладка старая, она тебе под ломом крошится. Ставь на порог, на камень.

Опору перенесли.

— Вместе, — сказал Аким. — Не рывком. И-и — пошли.

Рукоять пошла.

Не легко — с визгом, со скрежетом, который в предутренней тишине отдавался, кажется, до самой плотины; винт шёл рывками, на пол-оборота, и его всё время приходилось расхаживать назад и вперёд. Но он шёл.

Первая смена выдохлась за десять минут. Их сменили. Рябцев поддевал ломом и всё время смотрел, не косит ли щит в пазах.

— Ровно идёт, — говорил он. — Ровно. Ещё.

Щит вышел из воды на четверть, потом на треть.

И вода пошла.

Она пошла вся сразу — тяжело, коричневая, с пеной, с вывороченным хворостом, — и старое русло, забитое двадцатью годами мусора, приняло её, вздулось, но выдержало, и вода покатила вниз, туда, где никого не было.

Я стоял и смотрел на это и чувствовал, как у меня отпускает затылок.

Потом Рябцев с Акимом закрепили привод — застопорили, чтоб щит не сел обратно от собственной тяжести и от напора, — и это заняло ещё минут двадцать, и я их не торопил, потому что открыть и не закрепить означало сделать всё зря.

Наблюдатель, которого я посадил ниже по руслу, прислал сказать: канава за поворотом заполнилась, вода идёт по старой пойме, до дворов не достаёт, до дороги не достаёт.

Ещё до открытия малой секции я отправил людей предупредить всех, кто мог оказаться ниже по течению. Теперь потребовал повторно проверить берег.

— Кто там может быть? — спросил Дьячков.

— Наши двое на берегу, у плотины. Мужики из деревни, которые возвращались за скотиной. И, может, кто-то из соседей ходит по низине.

Мы послали двоих по берегу вниз и одного — вдоль пойменной дороги, с приказом гнать всех, кого встретят, наверх, и не слушать никаких возражений.

Одного мужика действительно нашли — он вернулся за курами и сидел в сарае, и его выгнали с курами и с матерной руганью, и он ругался в ответ всю дорогу до гребня.

Людей от шлюза уводили по правой стороне русла, по той, которую мы прошли и знали. Инструмент несли с собой — все ломы, топоры, трубу, даже щётку.

— Зачем нам щётка? — сказал Сиротин.

— Затем, что она чужая, — сказал Игнат. — Она мельницына.

У начала подъёма я отправил Сиротина вперёд, на крышу крайнего сарая у гребня: оттуда была видна вся низина. Инструмент у него принял Рябцев, бинокль я дал свой. Велел смотреть, куда пойдёт вода, и не спускаться без смены.

Уходя, я последний раз посветил на скобу.

Вода стояла на две ладони ниже её нижнего края.

Две ладони — это было всё, что мы успели забрать у них за ночь.

Рвануло, когда мы были на середине подъёма.

Сначала толкнуло в грудь — раньше, чем дошёл звук, — потом ударило: короткий, плотный, совсем не похожий на разрыв снаряда звук, будто уронили что-то огромное на что-то огромное. И следом, через несколько секунд, пошёл другой звук, низкий и длинный, и он уже не кончался.

Люди стали останавливаться и оборачиваться.

— Не стоять, — сказал я. — Идём.

— Товарищ младший лейтенант, надо ж посмотреть...

— На гребне посмотрим. Там выше и оттуда видно всё.

Меня самого выворачивало от желания повернуться и побежать вниз — к воде, к деревне, смотреть. Именно поэтому я и не дал.

На гребне нас встретил Мельников. Он стоял у крайней повозки с блокнотом — не с полевой книжкой, а с обыкновенным школьным, который таскал с осени, — и считал людей вслух, как считают на перекличке.

— Шестнадцать. Семнадцать. Игнат Прохорович, вы с кем шли? С Акимом? Тогда Аким восемнадцатый. Дьячков ещё внизу?

— Дьячков замыкает, — сказал я.

— Значит, ждём Дьякова и двоих наблюдателей.

Наблюдатель на крыше крайнего сарая — Сиротин, которого я послал туда перед подъёмом, — докладывал оттуда, сверху, ровным, чуть дрожащим голосом:

— Пошла... Идёт по низине... Вал до окопов дошёл... Наши окопы залило... Товарищ младший лейтенант, у нас блиндаж на втором взводе снесло, я вижу, как накат плывёт...

Часть людей, услышав это, сникла.

Сиротин, слезший через десять минут по приставленной к сараю лестнице, сказал прямо, обиженно, как говорят молодые, когда им кажется, что их обманули:

— Так чего мы всю ночь надрывались-то? Всё равно ведь рвануло. Всё равно ведь залило.

И кто-то поддержал:

— Правильно. Работали, работали...

Я не стал ничего говорить. Я взял бинокль, сам поднялся на высокое место и позвал их — троих или четверых, тех, кто громче.

Мы легли и стали смотреть.

Низина под нами была вся серая, гладкая и незнакомая. Вода стояла там, где вчера были огороды, и по ней плыли доски, ботва, чья-то бочка. Наши окопы исчезли совсем: вместо них шла ровная полоса воды с завихрениями там, где раньше был бруствер.

А деревня стояла.

Она стояла вся — двадцать восемь дворов, — по крыши в утреннем тумане, и вода подошла к ней и остановилась где-то у середины усадеб, залив низ, подполья, огороды, тришкин двор за кузницей, — но стены стояли, и крыши стояли, и ни одного дома не сдвинуло.

— Погоди, — сказал Сиротин. — Это как?

— А вот так, — сказал сзади Игнат.

Он всё-таки поднялся за нами, старый чёрт, и лёг рядом, и смотрел не на деревню, а левее — туда, где от нашего старого сброса вниз, по пойме, шёл широкий бурый поток.

— Вон, — сказал он. — Вон куда её увело. Она бы вся сюда пошла, на дворы, а её туда потянуло, в старое русло. Оно ж ниже.

— И что, из-за нашей щели?

— Из-за щели и из-за того, что мы свой пруд приспустили, — сказал Игнат. — Верхнюю плотину они рванули, мы её не спасли. А здесь к этому часу уровень уже ниже был и старый сброс открыт. Пришедшую воду стало куда отводить, не всю на дворы. Вон же она идёт.

Сиротин молчал долго.

— Это ж наши окопы, — сказал он наконец, другим голосом. — Мы ж их сами копали. В марте.

— Окопы выкопаем, — сказал я.

Дьячков пришёл через сорок минут, последним, вместе с двумя наблюдателями, которых мы оставляли у плотины.

Он подошёл прямо к Седову, как я и обещал, — не ко мне сперва, а к нему, — стал перед ним и сказал:

— Товарищ младший лейтенант, докладываю: у шлюза работы закончены, люди выведены, ниже по руслу никого нет. Я последний.

Седов посмотрел на него, потом на низину, потом на часы.

— Принял, — сказал он. И повернулся к своим: — Снимаем. Ящики оставить.

Пулемёт он перенёс не сразу, а сначала отправил расчёт с оружием другой стороной гривы, а на прежней позиции велел оставить пустые ящики из-под лент и одну шинель, набитую соломой.

Немцы били по этому месту ещё минут двадцать.

Я стоял и смотрел, как они аккуратно, методично, по всем правилам перепахивают пустой окоп с пустыми ящиками, — и за эти двадцать минут группа Седова целиком ушла на новую позицию, и с ней ушли двое моих, которые были на левом фланге.

— Красиво, — сказал Мельников.

— Он это сам придумал, — сказал я.

— Так я и говорю, что красиво.

Вниз мы не пошли до полудня, и это тоже пришлось объяснять, потому что вниз хотели все.

Вода начала спадать быстро — она и пришла быстро. К одиннадцати из воды показались крыши сараев, к полудню — плетни, потом дорога.

И тут, как всегда бывает, люди кинулись подбирать.

По краю затопленного поплыло имущество: доски, кадка, чей-то тулуп, катушка от нашей же связи, немецкий ящик, ещё что-то, и двое молодых полезли в мелкую воду вытаскивать.

— Назад! — крикнул Рябцев так, что они сели.

Он спустился к ним и показал палкой: вот тут, где вода блестит ровно, под ней настил, и настил подмыт, а вот тут, в двух шагах, — ямина, которой вчера не было, потому что грунт унесло.

— Она мелкая с виду, — сказал он. — Она по щиколотку. А под ней провал в человеческий рост, и ты туда уйдёшь с головой и не вылезешь, потому что края глиняные.

Вниз пошла не толпа, а двое: Рябцев и с ним пожилой сапёр из приданного отделения, которого все звали просто Захарыч.

Они шли медленно, щупая шестами, и отмечали дорогу — втыкали в глину прутья с тряпками, — и то, что у них получилось, было не дорогой, а тропинкой в обход, шагов на двести длиннее прямой.

Бывший немецкий инженерный пост стоял на бугорке за мельницей — сарайчик, в котором они, видимо, держали имущество, пока работали на плотине, и который бросили при отходе ещё в марте.

Его залило по окна.

Рябцев с Захарычем добрались туда к двум часам. Я смотрел за ними в бинокль с края и видел, как они обошли сарайчик кругом, потом Захарыч постучал шестом по стене, потом оба долго стояли у двери, прежде чем её тронуть.

Вернулись они через час, и Рябцев нёс в руках длинный металлический цилиндр.

— Вот, — сказал он, кладя его на пень. — У основания стены лежало, в куче. Их там вещей на телегу, но остальное — барахло: банки, сапог, солома.

Цилиндр был серый, покрашенный, с плотной навинчивающейся крышкой, с продетым ремешком. На крышке была немецкая надпись и штамп.

Рябцев вытер его рукавом и сказал уже другим голосом, тише:

— Это не солдатский. Это инженерный, для чертежей. Такие у них у офицеров-строителей. Я один такой видел в декабре, у нас в роте показывали.

Он открутил крышку — медленно, отвернув лицо, — и вытряхнул на ладонь свёрнутую кальку.

Мы развернули её вдвоём, придавив по углам камнями.

Это была карта. Не общая, а рабочая: участок местности, нанесённый аккуратно, с горизонталями, и по нему — штриховки, значки, цифры, и рядом с некоторыми штриховками — маленькие аккуратные подписи.

— Это мины, — сказал Рябцев. — Товарищ младший лейтенант, это минные поля. Вот тут — противопехотное, вот здесь — вот эти кружочки — противотанковые, а вот это, с буквой, я пока не знаю.

Вокруг нас уже стояли человек шесть, и я увидел по лицам, что через десять минут по взводу пойдёт разговор о том, что мы взяли карту всех немецких мин.

— Слушайте все, — сказал я. — Карта пролежала в воде. Она немецкая, она с прошлого года, и мы не знаем, что они переставили с тех пор. Пока сапёры её не проверят — на одном участке, ногами, — это бумага, а не карта. Кто пойдёт по ней без сапёра, тот покойник.

— Да мы понимаем, — сказал кто-то.

— Повтори, что ты понял.

Боец помялся и сказал:

— Что по ней ходить нельзя, пока не проверят.

— Вот.

Цилиндр я отдал Рябцеву, не стал убирать в свой планшет — потому что разбирать её было ему, и потому что он единственный мог сказать, что там за буква.

— Костя. Не сегодня.

— Я только гляну.

— Ты с трёх часов ночи в воде. Ты сейчас ляжешь и поспишь два часа, а потом поешь, а потом посмотришь. И я тебе это говорю не из жалости: ты мне спросонок прочитаешь не то, и мы по этому «не то» кого-нибудь пошлём.

Он посмотрел на меня, потом на цилиндр, и сказал:

— Хорошо. Два часа.

Прасковья нашла меня у повозок.

Она сидела на своём мешке — на том самом, из-за которого мы спорили, — и держала Нину за плечо, и девочка спала сидя, привалившись к ней.

— Ну, — сказала Прасковья. — Когда домой?

— Дома стоят, — сказал я. — Все.

— Дома я и сама вижу, вон они. — Она мотнула головой вниз, на деревню. — Ты мне скажи про погреб. Картошка у меня целая?

И вот тут я мог соврать. Мне очень хотелось соврать — сказать «посмотрим», «наверное», «должно быть в порядке». Люди устали, ночь была страшная, и хотелось дать им что-нибудь хорошее.

— Не знаю, — сказал я. — Погреб залило. Я видел в бинокль: вода стояла выше приступки. Что с картошкой — не знаю, может, часть сгодится, может, нет.

Прасковья поджала губы.

— А спуститься когда?

— Сегодня нельзя. Внизу настил подмыло и есть ямы под водой. Мой сапёр отметил один проход, по нему пойдут двое и посмотрят.

— Двое — это не хозяйева, — сказала она. — Двое мне скажут «залило» и уйдут.

— Двое вам скажут, где можно ставить ногу, — сказал я. — А в погреб вы полезете сами, завтра, и я вам дам людей и доски.

— Доски, — повторила она. — Доски у Игната в сарае. Я знаю, у него тёсу полно, он на гроб копил.

Игнат, стоявший рядом, вскинулся:

— Я не на гроб! Я на пол!

— Игнат Прохорович, — сказал я. — Тёс нужен на спуски. Три-четыре доски, чтоб класть через размытое. Мы вернём.

— Да берите, — сказал он сердито. — Что я, не понимаю. Только не всё берите, там половина короткая.

Мельникова я отправил вниз, к деревне, — не восстанавливать, а посмотреть, что можно открыть сегодня.

— К темноте вернись и скажи: какие дворы можно пускать по доскам, какие нельзя, и где колодцы.

— Колодцы зачем?

— Затем, что через день они начнут пить из своих колодцев, а туда влилась вся низина вместе с нашими окопами и тем, что в них было.

Он ушёл и вернулся к вечеру, доложив: восемь дворов можно открывать хоть сейчас, девять — только после того, как сойдёт, остальные посередине; два колодца надо закрыть и написать; и под мостком у кузницы вымыло яму, и туда уже чуть не свалилась чужая корова.

Седов пришёл ко мне в сумерках.

Он пришёл не один — с ним были двое его бойцов, и он нарочно остановился там, где стояли мои, у костра, у повозок.

— Гринёв. Про ночное наблюдение надо решить. Я гребень держу, но у меня людей на две смены, а не на три.

Я мог решить это с ним вдвоём, отойдя.

— Подожди, — сказал я. — Сначала другое.

Я повернулся к своим — к тем, кто сидел у костра и сушил портянки, — и сказал громко, так, чтобы слышали все:

— Пока мы ковырялись у шлюза, по канаве шли немцы. Они шли нам в спину: к Акиму, к Игнату Прохоровичу, к Рябцеву — ко всем, кто стоял лицом к железу. Их встретил взвод младшего лейтенанта Седова и не пропустил. И не пошёл за ними в лес, хотя очень хотелось, потому что за спиной была наша работа.

Стало тихо. Кто-то из сапёров сказал: «Вон как».

Седов стоял и смотрел в костёр, и лицо у него было такое, будто ему неловко и одновременно очень нужно, чтобы это было сказано.

— Ну ладно, — сказал он наконец. — Наблюдение-то как делим?

Мы разделили: его люди берут гребень и канаву до двух часов, мои — от двух до рассвета, стык у старой сосны, пароль общий, связь через Осипова.

— И вот ещё, — сказал Седов, уже уходя. — Ты, когда будешь писать своё донесение...

— Напишу как было, — сказал я.

— Я не про это, — сказал он с досадой. — Я про то, что вы пруд спустили. Ты напиши, сколько это заняло. Часы напиши. А то наверху решат, что это делается по щелчку, и в следующий раз дадут на такое сорок минут.

Это было умно, и я потом действительно так и написал.

Ночью мы сушились.

В деревню на ночлег не пошли: восемь дворов Мельников открыл, но туда мы пустили жителей, стариков и санитарную повозку, а взвод остался наверху, в сараях у гребня и в двух блиндажах.

Мокрое разложили по трём местам, чтоб не сушить всё в одной куче над одним костром: инструмент — отдельно, у сапёров, обувь — отдельно, одежду — в сарае у печки-временки.

Ковригин ходил и смотрел ноги. Акима, которого мы пустили греться первым, он осмотрел, передел в сухое и уложил под две шинели.

Рябцев проспал не два часа, а четыре, потому что его никто не разбудил, и я никого за это не наказал.

Проснулся он сам, вылез, поел холодной каши стоя, и сел с картой к фонарю.

Я подсел рядом.

Он развернул кальку, разгладил ладонью — она уже подсохла и коробилась, — и долго молчал, вода пальцем по значкам.

— Товарищ младший лейтенант, — сказал он наконец. — Я вам вот что скажу. Кто это чертил, тот был инженер. Хороший.

— Почему? — Я придвинул камень к загибавшемуся углу кальки.

— Потому что он привязку сделал не к дороге, а к трём точкам на местности, — Рябцев показал: — вот тут, вот и вот. Дорогу разбить могут, а эти три никуда не денутся. Я по ним смогу проверить, врёт она или нет.

— Когда?

— Не завтра, — сказал он. — Завтра я жителей поведу по доскам и буду смотреть, где у них под порогом пустота.

Он свернул кальку, убрал её в цилиндр, завинтил крышку и положил рядом с собой, к стене.

— А потом, — сказал он, — возьмём один квадрат. Самый край. И пойдём проверять. И если она честная — у нас будет большое дело.

Внизу, в темноте, слышно было, как всё ещё идёт вода по старому руслу — ровно, устало, без прежней злости.

Глава 3



Вода ушла за ночь, но ушла не вся и не везде.

Улица стояла серая, в лужах с ледяной коркой по краям, и по ней тянулись длинные наносы прошлогодней соломы, щепы и чёрного ила; там, где вчера ещё шёл поток, грунт вылизло до глины, и колея исчезла, как будто её и не было никогда. У четвёртого двора лежала на боку бочка, принесённая невесть откуда. Пахло не весной, а погребом — сырым, холодным, земляным, и этот запах шёл от всей деревни сразу.

Жители пришли с высоты в девятом часу, когда солнце поднялось и по улице потянул ветер.

Они шли не толпой. Они шли так, как ходят люди, которым нужно как можно скорее попасть каждый в своё, и растягивались по мере приближения, и уже с полдороги каждый смотрел только на свою крышу.

Рябцев стоял на въезде, в раскисших валенках поверх обмоток, серый лицом, и держал в руке связку колышков с обрывками белой тряпки. Он поспал после шлюза четыре часа, но после воды и работы в низине этого было мало.

— Костя, — сказал я. — Ты как?

— Нормально, — сказал он и зевнул так, что у него хрустнула челюсть. — Товарищ младший лейтенант, я их сейчас всех пропущу, а вы мне потом дайте два часа полежать. Где угодно, хоть в сарае.

— Дам четыре.

— Двух хватит.

Он прошёл по улице первым, и шёл он совсем не так, как ходят по улице: медленно, наступая сначала на носок, и через каждые десять шагов пробовал землю палкой. У колодца он остановился надолго. Потом свернул к третьему дому и встал перед крыльцом.

Крыльцо было целое. Сверху — доска к доске, ступени как ступени, ещё и вымыты водой добела.

Рябцев ткнул в него палкой, послушал, сошёл вбок, присел и заглянул под настил снизу. — Вот, — сказал он мне через плечо. — Полюбуйтесь.

Под крыльцом не было ничего. Землю из-под него вымыло начисто, ступени висели на двух гнилых пасынках, и между нижней доской и грунтом уходила вглубь чёрная промоина ладони в три.

— Оно же стоит, — сказал Мельников.

— Стоит, пока на него не встанут двое, — сказал Рябцев. — Баба с мешком встанет — сложится. — Он воткнул колышек с тряпкой прямо перед ступенями, наискось, чтобы нельзя было пройти, не задев. — Хозяин кто?

— Ковалёвы, — сказал кто-то из жителей. — Они с ребяташками.

— Передайте им и у калитки дождитесь: в дом сегодня не с этой стороны. С огорода зайдут, у них там вторая дверь.

Житель остался у тропы, дожидаясь хозяев; Рябцев пошёл дальше.

Он шёл дальше и втыкал колышки, и я с двумя бойцами шёл следом и клал доски — не мостил всю улицу, а делал проход к каждой двери по отдельности, потому что общей дороги тут сейчас не было, а было двадцать восемь разных задач по числу дворов.

И каждому хозяину это приходилось объяснять отдельно. Не крикнуть на всю улицу «ходить по доскам!» — а поймать человека за рукав, поставить рядом и показать пальцем.

— Дядя Игнат, вот смотри. Вот сюда наступаешь, сюда и сюда. Вот здесь колышек — здесь не ходишь вообще, ни ты, ни кто. Понял?

— Понял, — говорил Игнат, косясь на свою мельницу, и уже шёл, и я его возвращал, и он показывал мне на пальцах весь путь ещё раз, злясь и торопясь, и только тогда я его отпускал.

Прасковья Филипповна пришла одна из первых.

Она вошла в свой дом, постояла в сенях, потом вышла на крыльцо, посмотрела на нас — на меня, на Мельникова, на бойцов с досками — и сказала:

— Погреб.

И пошла за угол, к дверце в подклет, и на ходу уже стаскивала с плеча пустой мешок.

— Прасковья Филипповна, — сказал я. — Погодите. Туда сначала...

— Там картошка, — сказала она, не оборачиваясь. — Восемь мешков.

Я мог её остановить. У меня был на это и голос, и, если честно, и право: деревня стояла в двух километрах от переднего края, и всё, что здесь было, я по службе обязан был считать местом, куда без проверки не лезут. Я бы её остановил, и она бы встала, и потом целый день смотрела бы мне в спину и ждала, когда я уйду.

— Мельников, — сказал я. — С ней.

Пётр догнал её у самой дверцы, не за руку взял, а обошёл и встал первым, боком, не загораживая.

— Хозяйка, я вперёд, — сказал он. — Не потому, что тебе нельзя. Потому что я тяжелее.

Он спустился, и через полминуты мы услышали снизу его голос, гулкий:

— Так. Хозяйка, третью ступеньку не трогай. Её подмыло, она на честном слове держится. Слышишь? Ты стань вот тут, наверху, и не спускайся, я тебе буду подавать, а ты принимай.

— Я сама спущусь!

— Спустишься, — согласился Мельников, — а обратно с мешком на плече по этой ступеньке пойдёшь, она под тобой и уйдёт. Тогда мы тебя вдвоём оттуда доставать будем, а нам ещё улицу разгребать.

В погребе было по колено воды. Он подавал мешки снизу, и Прасковья принимала их и волокла на свет, и разрезала завязку, и запускала руку внутрь по локоть.

Первый мешок был хороший. Второй тоже. Третий вытащили из-под самой воды, и картошка в нём была скользкая и прозрачная, как студень, и пахла так, что Нина, прибежавшая на голоса, немедленно закрыла нос ладонью.

Прасковья перебрала первую пригоршню и бросила обратно.

— Всё, — сказала она. — Пропало.

И полезла считать дальше — не перебирать, а считать, сколько ещё там осталось, и в ней уже поднималось то, что поднимается у всякого человека над испорченным добром: желание немедленно всё вытащить, увидеть целиком, ужаснуться сразу и до конца.

— Филипповна, — сказал Мельников снизу. — Ты погоди считать.

— Чего годить?

— Того. — Он выбрался по лестнице до пояса и упёрся локтями в край. — Ты сейчас всё разом выволочь хочешь. А я тебе так скажу: доставай, что с сухого края достается, и относи в сарай. Что в воде стояло — ставь отдельно, и не рядом, а отдельно совсем, потому что оно и хорошее заразит. Сколько получится, столько и будет, зато ты его положишь в сухое и будешь знать, что у тебя есть.

Она посмотрела на него, потом на мешки.

— Много пропало, — сказала она.

— Много, — согласился Мельников. — Половина, считай. Но половина — это не всё.

Лестницу они сделали через час. Хвостова со мной уже не было — после моего отъезда на курсы он оказался в другой роте, — но и у Мельникова руки были на месте: он вытесал две новые тетивы из горбыля, приколотил ступени с запасом в ширину, и получилась не лестница, а трап, по которому можно было идти с мешком и не смотреть под ноги.

Уцелевшее сносили в сарай, на настил из жердей, и Нина при этом взялась распорядиться, где что лежит, и распорядилась так серьёзно, что ей никто не возразил.

— Это сюда, это к стене. Бабушка, это не туда, это ж мокрое!

— Не учи.

— Ты сама сказала — отдельно.

— Ну и не учи, — сказала Прасковья и переставила мешок туда, куда сказала внучка.

К полудню в четырёх дворах вычерпывали погрёба.

Я выделил на это смену — шестерых, с ведрами и с двумя ведрами на верёвке, — и поставил старшим Юдина, и отдельно сказал ему: меняйте людей каждые двадцать минут, потому что вода талая, и никто не должен стоять в ней дольше.

— Товарищ младший лейтенант, — сказал он. — А нам самим-то сушиться где?

Вопрос был не праздный. Из двадцати восьми дворов сухих внутри осталось меньше половины; в остальных пол стоял мокрый, а стены отпотевали. И в доме Прасковьи была одна комната — горница, — куда вода не дошла, и она была сухая, и тёплая, и в ней уже кто-то из моих присмотрел себе стену.

Я зашёл туда и увидел: три шинели брошены на лавку, мешок в углу, и Савостин деловито развешивает портянки на верёвке, которую сам же и протянул поперёк комнаты.

— Савостин, снимай.

— Товарищ младший лейтенант, так сохнет же хорошо!

— Снимай, — сказал я. — Это единственная сухая комната в доме. Здесь будут жить хозяева. Мы будем в сарае.

— В сарае — это ж...

— Это сарай, — сказал я. — Кладите настил из жердей, сверху солому, сверху брезент. Я там же лягу.

Он посопел и стал снимать верёвку. Я честно скажу: мне тоже не хотелось в сарай. Я третьи сутки был мокрым до колена, и мысль о тёплом углу у печи была совершенно телесной, как голод. Но взвод стоял в деревне, из которой этих людей позавчера выгнала вода, и если бы

я взял себе горницу, мне бы потом ничего не стоило взять и второе, и третье, и через неделю мы жили бы в домах, а они в сених, и всё это называлось бы «размещением».

Игнат нашёл меня сам, у колодца, где я отмывал сапоги.

— Товарищ командир. Мне люди нужны.

Я соскрёб щепкой глину с каблука и выпрямился.

— У меня все уже заняты, Игнат Прохорович.

— Мне не таскать, — сказал он, отставляя моё ведро, чтобы подойти ближе. — Мне к приводу. Двое, и чтоб с руками.

Мельница у него стояла не на реке, а на ручье, и весь ноябрь и всю зиму он её не пускал, потому что немцы сняли ремень и часть железа со вспомогательной передачи. Но нижний вал с прямой передачей на один постав уцелел, и лоток уцелел, и после сброса воды по ручью шло больше, чем обычно. Всю мельницу не восстановишь, а один постав Игнат собирался пустить.

— Что там делать?

— Лоток чистить, — сказал он. — Его илом забило по колено. И вал закусило, там мусор набило, палки. И подшипник, сиречь подушку, мне переложить надо, а у меня спина.

— Игнат, у меня люди на погребках.

— А ты рассуди, — сказал он, начиная сердиться. — Зерно я вчера из-под воды достал? Достал. Три мешка спас? Спас. А молоть чем? На ручных жерновах? Так у нас их два на всю деревню, и на них бабы будут трое суток сидеть, и всё равно не намелют. Апустишь мне постав — я тебе к вечеру дам муку. И на твою кухню дам.

Я послал ему не своих бойцов.

Я послал к нему двух стариков и одну женщину, у которой болела рука и которая всё равно не могла таскать мешки, — и это оказалось лучшим решением за то утро, потому что все трое знали мельницу с довоенных времён, и когда Игнат сказал «подушку переложить», они поняли, что он имеет в виду, а мой Савостин не понял бы и за час.

Работали до вечера. Я заходил туда дважды. В первый раз они вычерпывали лоток совковыми лопатами и ил летел в ручей; во второй раз внутри пахло уже не сыростью, а деревом и старой мукой, и Игнат стоял на коленях у вала и подбивал клин.

— Ну? — спросил я.

— Пойдёт, — сказал он, не оборачиваясь. — Только ты имей в виду: первая мука — не мука.

— Это как?

— А так. Постав стоял, камни отсырели, в жёлобе грязь. Первый помол пойдёт с грязью и с мусором. Его в общее не сыпать, его отдельно, и в дело не пускать, пока не пройдёт.

— А потом?

— А потом уже мука.

Вечером он пустил.

Это был странный звук для той весны — низкий, ровный, деревянный, и он покатился по улице, и я увидел, как у своих дворов остановились люди: не подошли, не побежали смотреть, а просто встали и послушали.

Первый помол Игнат ссыпал в отдельный мешок, завязал и отставил к стене, и сверху положил кусок доски, чтобы никто не перепутал. Второй пошёл уже в подставленный ларь, и он зачерпнул горстью, растёр между ладонями, понюхал и сказал:

— Вот теперь бери.

Я взял на кухню два ведра, а Прасковья к тому времени вытопила печь.

И вот тут случилось то, ради чего, наверное, весь этот день и был.

Она вышла на крыльцо — уже в сумерках, в платке, с подоткнутым подолом, — и сказала не мне, а вообще, в сторону сарая, где мои устраивали настил:

— Эй. Идите, кто там. Тесто поставила.

Никто не приказывал ей звать нас. Днём я нарочно не просил у неё ни печи, ни угла — и не потому, что был такой деликатный, а потому, что знал: если попрошу сейчас, она даст, но даст как отдаёт человек, у которого и так всё отняли. А к вечеру мы восемь часов таскали её мешки, ставили её лестницу, вычерпывали её погреб и не зашли в её горницу, — и она позвала сама.

Разница между этими двумя вещами не помещается ни в какой рапорт, но она есть, и на ней потом стоит всё остальное.

К девяти вечера в кухне у Прасковьи было не продохнуть.

Печь топилась второй раз за день, и от неё шло то плотное, тяжёлое тепло, которое бывает только от русской печи и от которого у мокрого человека сначала начинает ломить кости, а потом его окончательно развозит. На жерди под потолком висело столько всего, что жердь прогибалась. У шестка стояли в два ряда сапоги и валенки. Пахло мокрой шерстью, овчиной, мукой и той самой картошкой, которую перебрали и от которой отделили пропавшую.

И к этой одной печи в один и тот же вечер имели дело три разных набора людей.

Мои — те шестеро, что весь день вычерпывали погреба и которым в полночь заступать. Соседи, взвод Седова, вернувшиеся с гребня, где они просидели двое суток и где у них не было даже костра. И дети — Нина и двое ковалёвских, которые весь день бегали по улице в том, в чём есть, и промокли к вечеру насквозь, и стояли теперь у порога, не решаясь лезть к взрослым.

Первым к печи, конечно, подошёл человек с самым громким голосом. Это был чужой старшина из хозяйственного взвода, приехавший с подводой и решивший заодно просушить свой полушубок.

Он снял его, встряхнул и стал пристраивать прямо на шесток, поверх чужого.

— Сними, — сказала Прасковья.

Старшина обернулся с тем выражением, с каким оборачиваются люди, привыкшие, что в деревнях им не говорят «сними».

— Хозяйка, я на полчаса.

— На полчаса иди в сени. — Она даже не повысила голоса, она просто взяла его полушубок за ворот и сняла с шестка сама. — У тебя полушубок, он до утра не высохнет всё равно, а ты им мне четыре пары портянок задавил. И спать ты сегодня в тепле будешь. А эти вон в двенадцать на улицу пойдут.

— Да я...

— Вон там повесь, на верёвку, — сказала она и показала на дальний угол, где было сухо, но не жарко. — И детское сюда, к низу. Нинка, тщи ковалёвских чулки.

Дальше она распределила всё сама, и распределила по одному признаку, который я бы, честно говоря, и сам не сразу сообразил поставить главным: не по чину, не по тому, кто сильнее промок, а по тому, кому когда выходить.

— Эти в двенадцать? — спрашивала она про наших. — Значит, эти к самому огню. Ваши, — это сержанту из взвода Седова, — когда?

— Наши в шесть утра.

— Ваши на жердь.

— А мои? — спросил кто-то из хозяйственных.

— А ваши и завтра в тепле, — сказала Прасковья. — Ваши на верёвку.

Никто не спорил. Спорить с этим было нельзя, потому что это была не милость и не грубость, а простая раскладка, понятная любому.

Дьячков тем временем сидел на корточках у шестка и перебирал рукавицы.

Рукавицы у нас были новые — те самые двадцать восемь пар, которые я привёз из районного города шестнадцатого мая, с записками швей. Мы раздали их перед выходом по работе: тонкие отдельно, толстые, с ватной прокладкой, отдельно. Между собой эти два вида не путали, а вот внутри каждой кучки пары были совершенно одинаковые на вид.

— Это чьи? — спросил Дьячков, поднимая одну. — Это не мои.

— Твои вон, — сказал Савостин, указывая на край шестка.

— Это не мои, у меня побольше.

— У всех побольше, — сказал Савостин. — Ты вчера уже чужие надел и весь день в них ходил, а Бадаев твои носил и тоже молчал.

Дьячков перебрал ещё раз, примерил одну, примерил вторую, плюнул и сел.

— Ну вот что, — сказал он. — Мы так до лета будем. Товарищ младший лейтенант, у нас нитки есть?

— У Прасковьи Филипповны, наверное, есть.

— Есть, — сказала Прасковья от стола, не оборачиваясь. — Тебе какие?

— Мне любые, лишь бы цветные. — Дьячков уже загорелся, а когда он загорался, его невозможно было остановить. — Я вот что предлагаю. Каждому прошить на отвороте свою метку. Ниткой. Одному два стежка красным, другому крест, третьему через край. Не именами, не карандашом — карандаш слезет, — а ниткой. И тогда каждый свою знает хоть в темноте, на ощупь.

— Это ж возиться, — сказал кто-то.

— Возиться полчаса на всех, — сказал Дьячков. — А без этого мы каждое утро будем по десять минут разбираться, и кто-нибудь уйдёт на пост в чужих, коротких, и обморозит себе руки, и будет виноват фельдшер.

Так и сделали. Нитки Прасковья дала, и Нина немедленно взялась распределять цвета — кому красный, кому синий, — и вела учёт вслух, по памяти, и потом ещё дважды подходила и переспрашивала, точно ли Савостин красный, а не Бадаев.

Мельников в это время делал рейку.

Жердь под потолком уже провисала, и он принёс из сарая ровную сухую слегу, вытесал по концам шипы и подвесил её на двух проволоках — не над самой печью, а сбоку, там, где тепло идёт вверх вдоль стены.

— Вешай, — сказал он.

На неё повесили всё сразу — и портянки, и две шинели, и чьи-то ватные брюки, — и рейка сначала прогнулась дугой, а потом одна проволока поехала по слеге к середине, и весь ряд съехал и сбился в кучу.

— Стоп, — сказал Мельников, подхватывая. — Снимаем половину.

— Так куда ж её?

— На жердь и на верёвку. — Он перевесил проволоки ближе к концам, подвязал середину третьей и сам развесил заново, с промежутками в ладонь. — Вот так. Кучей вешать нельзя, кучей оно не сохнет, оно преет. И низ оставляем свободным.

— Зачем низ?

— Детское, — сказал он. — Детское внизу, у самой печи. Оно маленькое, оно там за ночь высохнет, и никому не мешает.

Прасковья на это ничего не сказала, но я заметил, что она посмотрела на Мельникова второй раз за вечер.

Седов пришёл в половине десятого.

Он вошёл, не снимая шапки, оглядел кухню, нашёл глазами своих и остался стоять у порога — прямой, в туго перетянутой шинели, с той особенной подтянутостью, какая бывает у людей, которые двое суток не спали и держатся на одном упрямстве.

— Мои, — сказал он. — Через сорок минут смена белья и отбой. Кто сушится, снимайте к одиннадцати.

— Товарищ младший лейтенант, — сказал ему один из его бойцов, — вы б сели.

— Я на минуточку.

— Сядь, — сказала Прасковья.

И поставила перед ним на край стола миску. В миске была затируха — та самая, из первой нормальной муки с игнатовского постава, заваренная кипятком и забелённая чем-то, что Прасковья держала у себя неизвестно с какого года.

Седов посмотрел на миску. Потом снял шапку.

Он сел на угол лавки и ел молча минуты три, и за эти три минуты в кухне как-то само собой стало тише, потому что все ждали, когда он заговорит. Его взвод сидел на гребне двое суток. Все знали, что там было, и никто, кроме них, там не был.

— Ну и как оно было-то? — спросил наконец Дьячков, который не мог молчать дольше.

Седов поставил миску.

— Обыкновенно было, — сказал он.

И начал рассказывать — сначала сухо, как рапорт, потом всё подробнее, потому что рассказывать он умел и, по-моему, сам этого про себя не знал.

— Задачу нам поставили какую: держать гребень, пока внизу работают у шлюза и пока уходят повозки. Я сначала хотел на самый верх сесть, там обзор лучше. Потом прошёл и увидел: сверху меня и самого видно с трёх сторон, и если они ударят, я оттуда съеду и весь гребень отдам сразу. Значит, сел ниже, на скат, двумя точками, и одну оставил в резерве за перегибом.

— Немец лез? — спросил Савостин.

— Лез. Но не в лоб. — Седов поднял ложку и провёл ею по столу линию. — Они пошли по канаве, вот так, слева, и думали, что я их не вижу. А я их видел с той минуты, как они вошли. И вот тут у меня было самое трудное: не стрелять.

— Как — не стрелять?

— А так. Ударишь рано — они отойдут, залягут и будут меня весь день щупать миномётом. А мне надо было не убить их, мне надо было, чтоб внизу dokonчили работу. — Он положил ложку. — Пустил их до поворота, там они мне были как на ладони, и оттуда и накрыли. Они назад, мы за ними не пошли. И всё.

— Всё? — сказал Дьячков. — Так это ж полдела.

— Полдела, — согласился Седов. — Вторая половина была — сидеть дальше. Немца отогнали, а внизу ещё работали. Я сидел, пока не сообщили, что последняя смена ушла от шлюза.

— После этого ещё сидели, товарищ младший лейтенант, — сказал его боец у двери, не отрываясь от ремня. — Минут двадцать.

Седов повернулся. Боец остановил шило над кожей.

— Последняя смена ушла, а Дьячков ещё двоих наблюдателей собирал. Вы сказали: пока сам не придёт, сидим. Потом он к вам и пришёл.

Глава 4



В кухне стало тихо. Седов положил ложку и некоторое время смотрел на бойца.

— Верно, — сказал он. — Я две передачи в одну сложил. По Дьячкову снялись, лично он доложил.

Боец протянул дратву через прокол и опять занялся ремнём. Седов продолжил рассказ, уже раздельно: что передали от шлюза и чего он дождался потом.

А я запомнил поправку. В донесении нельзя было оставить эти двадцать минут пустыми: сосед держал позицию, пока возвращались последние люди.

Зимина приехала ещё засветло, с попутной подводой, и до темноты снимала улицу, лестницу в погреб и вымытое водой крыльцо на гнилых пасынках, а в кухню вошла позже всех, когда уже все ели.

Она встала у притолоки, поставила свой фанерный ящик на пол и не стала ничего доставать.

— Хозяйка, — сказала она. — Я фотограф. Я бы хотела снять вашу кухню. Вот так, как есть.

Прасковья поставила ухват к печи и выпрямилась.

— Это зачем?

— Для газеты, скорее всего. Может, и не возьмут. — Зимина говорила спокойно, не уговаривая. — Дом ваш вся газета увидит, и вас у печки. Не хотите — так и скажите, я аппарат не достану.

— А что там видно будет?

— Печь, люди, вещи сохнут. Я нарочно возьму вот этот угол — здесь сохнет одежда и сидят ваши.

— А бумаги? — спросил я.

Зими́на поглядела на стол, где у меня лежал развёрнутый листок с ротной раскладкой смен, и, не дожидаясь моей просьбы, отошла на два шага в сторону.

— Я и не собиралась, — сказала она. — Я встану отсюда. С этой точки ни стола, ни карты, ни петлиц крупно. Кухня, люди, огонь.

— Ну снимай, — сказала Прасковья. — Только я в платке этом с утра.

— Так и надо, — сказала Зими́на. — Переоденетесь — будет не ваша кухня, а чужая.

Она достала аппарат и стала возиться с лампой — снимать в такой темноте без вспышки было нечего и думать, — и, пока она возилась, Нина решительно подошла к лавке и стащила с неё мокрую серую тряпку, которой днём вытирали пол.

— Так нельзя, — сказала она.

— Что нельзя? — не поняла Зими́на.

— Так снимать нельзя. У нас не всегда тряпка на лавке. — Нина отнесла тряпку в сени, вернулась, поправила на лавке половик и оглядела кухню хозяйским взглядом. — Вот теперь можно.

Зими́на засмеялась — коротко, без снисхождения.

— Правильно, — сказала она. — Убирать со снимка нельзя, а прибираться дома можно.

Она сняла три раза. При первой вспышке ковалёвский мальчишка заорал от испуга, при второй все уже смотрели в аппарат и оттого получились, я думаю, деревянные; на третий раз Дьячков как раз показывал Бадаеву свою нитяную метку на рукавице, и Зими́на щёлкнула именно тогда, и, по-моему, только этот кадр и стоил чего-нибудь.

— Анна Владимировна, — сказал я потом, когда она укладывала ящик. — Мне нужен отпечаток. Не для газеты.

— Кому?

— В районный город. Там на фабрике эти рукавицы шили — вот эти самые. Женщины вкладывали в них записки, просили написать, дошло ли. Я обещал показать.

Зими́на остановилась с крышкой в руках.

— Вот этот кадр, с меткой? — спросила она.

— Этот. На нём видно, что они в работе, а не на складе лежат.

— Сделаю, — сказала она. — Только вы мне напишете, кому и куда, а я на обороте подпишу: где, когда и что на снимке. А то через полгода это будет просто чьи-то руки.

Люди ели и сохли ещё с полчаса, и было шумно; потом Дьячков вспомнил, как утром Игнат гонял стариков у лотка, и изобразил его голос, и Игнат, сидевший тут же, сказал, что он не так говорит, и все стали доказывать, что именно так.

А в полночь шестеро встали, разобрали с шестка свои просохшие портянки, каждый нашёл свои рукавицы по метке — и вышли в темноту, на мокрый ветер, менять тех, кто стоял с шести.

И это, наверное, и было главным итогом того вечера: не то, что люди согрелись, а то, что им теперь было, куда возвращаться сушиться.

Карту мы развернули на другое утро, в сарае, на столе из двух козел и двери.

Цилиндр был из толстой чёрной жести, с завинчивающейся крышкой и с резиновым кольцом под ней, и внутрь всё же просочилось немного воды. Калька уже просохла у фонаря, но коробилась; футляр нашли у стены брошенного инженерного поста. Рябцев вытряхнул карту и стал расправлять её ладонями — от середины к краям, медленно, придавливая сгибы, и ни разу не провёл по бумаге ногтем.

— Её нельзя ломать по-новому, — сказал он, заметив мой взгляд. — Если я её сложу по-своему, у меня половина значков попадёт на сгиб и сотрётся. А они карандашом ставлены.

На карте был знакомый мне кусок местности — от речки до высоты, с дорогой, дамбой, старым сбросом и низиной, которую позавчера залило. Печать была немецкая, а поверх неё

шли пометки от руки: квадратики, крестики, цифры мелко, стрелочки, и вдоль дороги — двойная пунктирная линия с подписью.

Я смотрел на это ровно четыре секунды, и за эти четыре секунды у меня в голове уже выстроилось всё то, из-за чего потом люди и подрываются.

— Костя, — сказал я, ведя пальцем, — смотри. Вот тут у них чисто, и тут чисто, и если мы пойдём вот так, вдоль кустов, то выходим прямо под скат высоты, и...

— Товарищ младший лейтенант.

Он сказал это тихо, но так, что я остановился.

— Вы сейчас ведёте палец по пятистам метрам, которых мы ни разу не видели, — сказал Рябцев. — И я вместе с вами. Давайте начнём с того, что у нас под ногами.

Он положил ладонь на карту, закрывая высоту, и оставил открытым только ближний угол.

— Вот. Вот наш край поля, за огородами, где кладбище. От него до нас триста метров. На карте тут два знака: один вот здесь, у канавы, второй вон там, ближе к одинокой сосне. Оба в пределах видимости от нашего охранения. Вот с них и начнём. Если тут сойдётся — будем разговаривать дальше. Если не сойдётся — вся эта бумага стоит ровно столько, сколько жечь, в которой она лежала.

Я подумал и согласился, и мы пошли смотреть.

Он взял с собой двоих — сапёров Шумилина и Бадаева, — и больше никого. Я пошёл сам, но Рябцев ещё на выходе из деревни поставил условие:

— Вы со мной до границы. Дальше я и Шумилин. Бадаев на границе.

— Костя, я не первый день...

— Товарищ младший лейтенант, — сказал он с той усталой вежливостью, какая у него появлялась только в этих разговорах, — вы сапёр?

— Нет.

— Вот и всё.

Границу он обозначил колышками с тряпками — теми самыми, что остались со вчерашнего дня, — и провёл её широко, метрах в сорока от первого знака, и Бадаев сел у колышков, положив рядом сумку и щуп, и на этом моё участие в этой работе кончилось.

Я стоял и смотрел, как двое ползут по мокрому полю.

Они ползли долго. Сначала Рябцев прошёл шагом до середины, останавливаясь и глядя под ноги — на траву, на прошлогодний бурьян, на то, как лежит прибитая водой ветошь, — потом лёг и дальше пошёл щупом. Щуп — это железный прут с деревянной рукояткой, и им тычут в землю наклонно, через каждые ладонь, и от этого за час выматываешься больше, чем за переход.

Первую мину он нашёл через сорок минут.

Он нашёл её не там, где я бы её искал, а на полтора метра левее, и потом объяснял мне на карте, и объяснение было простое: немцы ставили по бровке канавы, а вода бровку подмыла и сдвинула дёрн.

Что было дальше, я видел издали и вблизи не подходил, потому что меня туда не пустили. Шумилин лежал в пяти шагах позади, на уже проверенной полосе, и держал инструмент наготове. Когда Рябцеву понадобилось другое, он отполз к напарнику и вернулся тем же следом. Минут двадцать я видел над травой только его плечи и медленные движения локтя. Потом он отполз, встал и махнул.

— Есть, — сказал он, возвращаясь. У него дрожали пальцы, но он этого, по-моему, не замечал. — Немецкая, противопехотная, в деревянном корпусе. Взрыватель вынул, корпус оставил на месте, обозначил. Стоит она ровно там, где у них квадрат.

— Значит, карта верная.

— Значит, один знак верный, — сказал он. — Пойдём смотреть второй.

Второго не было.

Он искал его час с лишним. Он прошёл шупом весь участок вокруг сосны, потом прошёл ещё раз поперёк, потом позвал Шумилина и они прошли вдвоём, разбив квадрат на полосы. Земля была пустая. Ни мины, ни лунки, ни следов установки.

Рябцев вернулся к колышкам мокрый насквозь, сел прямо на землю и стал вытирать лицо рукавом.

— Не понимаю, — сказал он.

— Может, сняли?

— Может, сняли. А может, я не там ищу. — Он посмотрел на меня снизу вверх. — Это, товарищ младший лейтенант, два разных ответа, и путать их нельзя. Если сняли — значит, карта была верная и поле изменилось. Если я не там ищу — значит, вся карта у меня привязана неправильно, и первая мина нашлась случайно.

— Как ты это разведёшь?

— По ориентиру.

Он развёл это к вечеру.

Он взял на карте всё, что не могло сдвинуться: угол кладбищенской ограды, каменный столб от старых ворот, излом канавы. Промерил шагами расстояния на местности, потом промерил их на карте по масштабу и сел считать.

— Вот, — сказал он, когда я пришёл. — Смотрите. По карте от угла ограды до столба сто восемьдесят. По земле — двести пять. И так же на втором промере: на карте короче, чем на земле, и всё время примерно на одну десятую.

— Значит, у них ошибка в масштабе?

— Значит, у них вся эта накладка ставилась не по инструменту, а прикидкой. И чем дальше от ограды, тем больше уезжает. У первой мины это дало полтора метра, и я её нашёл, потому что искал широко. У второго знака это даёт уже метров двадцать пять. А я его квадратом в пятнадцать перекрыл.

— То есть она там может быть?

— Может. — Рябцев положил карандаш. — А может и не быть. Я завтра пройду смещённый квадрат, и тогда скажу одно из двух: или знак верный со смещением, или поле изменилось. Но, товарищ младший лейтенант, я вас прошу: пока я не скажу, ни одного человека на это поле.

Назавтра он прошёл смещённый квадрат и нашёл лунку.

Пустую, аккуратную, с примятыми краями, и рядом — вытопанное место и выброшенную деревяшку от укупорки. Мину оттуда сняли сами немцы, и сняли недавно, судя по тому, что лунку ещё не заплыло.

Вот тогда мы и сделали схему.

Я нарочно не стал перерисовывать немецкую карту. Мы взяли лист, положили рядом и перенесли на него только два вида сведений, и перенесли по-разному.

Всё, что мы проверили ногами, Рябцев обвёл сплошной линией и подписал: «осмотрено, дата, кем». Этого вышло мало — узкая полоса вдоль края поля от ограды до сосны, двести с чем-то метров, одна снятая мина и одна пустая лунка.

Всё остальное он нанёс пунктиром и подписал сверху крупно: «по немецкой карте, не проверено, расхождение промеров достигает 15%; привязку уточнять на каждом участке».

— И ещё вот что, — сказал он и внизу приписал третью строчку: «Обнаружены следы снятия одной мины после составления карты. Когда снята — не установлено».

— Зачем это?

— Затем, что через неделю кто-нибудь возьмёт эту нашу схему и решит, что она уже наша и оттого верная, — сказал Рябцев. — А эта строчка ему напомнит, что немец там ходит и переставляет.

Пользу этой строчки я увидел в тот же день.

К вечеру в деревню пришёл разведывод — им ставили задачу на сухой рубеж, и старший, сержант Бабенко, зашёл к нам за сведениями. Он был из тех, кто всё схватывает быстро и оттого иногда схватывает не то.

Он постоял над схемой минуту и сразу повёл пальцем.

— Хорошо, — сказал он. — Значит, мы идём вот отсюда, по вашей проверенной полосе, а дальше вот так, срезаем вот здесь угол — тут у вас пунктиром пусто — и выходим прямо к тому кусту. Экономия — километр и полчаса.

— Не срезаете, — сказал я.

— Так тут же пусто.

— Тут пусто на немецкой бумаге, которую рисовал неизвестно кто прикидкой на глаз и в которую после этого сами немцы полезли и что-то оттуда сняли. — Я взял карандаш и постучал по подписи. — Вот это читайте. Проверено — двести метров вдоль края. Остальное — не проверено.

Бабенко прищурился.

— Товарищ младший лейтенант, а какой мне тогда от вашей карты прок? Если ей верить нельзя.

Вопрос был правильный, и я порадовался, что он его задал вслух, а не подумал про себя.

— Прок вот здесь, — сказал я, закрывая ладонью непроверенную часть. — Вы теперь знаете, что перед вами мины. На нашем краю их ставили по бровкам канав. Вот двести метров, которые мы прошли щупом: есть откуда начать. Только и здесь ночью по вешкам, за сапёром. Это ещё не проход для роты.

— А остальное?

— А остальное вам придётся заработать так же, как эти двести метров. Щупом.

Бабенко ещё раз провёл ногтем вдоль сплошной линии, потом убрал руку от схемы. Он ушёл недовольный, но ушёл, и, насколько я знаю, той ночью его люди шли именно по проверенной полосе и угол не срезали.

А рапорт я писал через два дня, и вот тут вышла история, из-за которой у нас с Седовым всё и переменялось.

Батальонный черновик принёс Дроздов, адъютант старший, — человек аккуратный, вечно с двумя карандашами в кармане, и с тем особым выражением лица, какое бывает у людей, которым надо сдать бумагу к сроку.

— Товарищ младший лейтенант, вот описание действий у дамбы. Посмотрите свою часть, если есть замечания — сегодня, завтра уходит.

Я стал читать.

Написано было гладко. Всё было по порядку: обнаружение колышков с отметками уровня; вывод жителей на высоту малыми группами; открытие старого сброса силами местных рабочих под руководством мельника при прикрытии; отход рабочих и сапёрной группы; немецкий подрыв повреждённой части плотины, встреченный при уже пониженном уровне.

Я прочитал это дважды и понял, чего в нём нет.

В нём не было середины.

Между «открытием сброса» и «отходом» стоял промежуток в полтора часа, и в эти полтора часа рабочие у затвора и сапёры внизу были живы только потому, что на гребне над низиной сидел взвод Седова и не пускал туда немцев. Про гребень в бумаге была одна строчка: «фланг обеспечивался». Кем обеспечивался, сколько времени, чем это кончилось — не было.

— Дроздов, — сказал я. — Тут пропущено.

— Где?

— Вот здесь. Гребень.

Он посмотрел, куда я показывал, и пожал плечами:

— Так там же написано: фланг обеспечивался.

— Написано. — Я взял его карандаш. — Только из этой бумаги выходит, что сброс открыли мы и ушли мы, а фланг как-то сам обеспечился. А было так: если бы гребень не держали, немецкая группа вышла бы по канаве вот сюда, к затвору, и рабочие бы его не открыли. Не «им было бы труднее», а не открыли бы вовсе, потому что они там стояли открыто, на виду, двое с ломом.

— Товарищ младший лейтенант, — сказал Дроздов терпеливо, — я понимаю. Но у меня формат. У меня на всё про всё лист. Если я начну расписывать, кто кого прикрывал, у меня выйдет не донесение, а повесть.

— Тогда вычеркните что-нибудь моё.

Он поднял брови.

— В смысле?

— В прямом. — Я положил карандаш. — У меня тут три строки про то, как мы выводили жителей. Оставьте одну. А освободившееся место отдайте гребню. Мне это будет стоить двух строк, а взводу Седова — всей его работы.

Дроздов помолчал, потом достал второй карандаш и придвинул лист.

— Диктуйте, — сказал он. — Только коротко.

Мы вписали: удержание гребня над низиной силами такого-то взвода; отражена попытка обхода по канаве; участок оставлен после вывода рабочих, сапёров и наблюдателей. И тут я остановился.

— Время, — сказал я. — Время он назовёт сам. Мне его память тут ни к чему, у него своя. И подпись его нужна, а не моя.

— Это дольше.

— Это правильнее.

Седова я нашёл у него в землянке — низкой, сырой, с двумя нарами и с печуркой из ведра. Он спал одетым и проснулся сразу, как просыпаются на второй неделе.

Я объяснил, зачем пришёл, и положил перед ним лист.

Он прочитал раз. Потом второй.

И сделал не то, чего я ждал. Он не сказал спасибо. Он взял карандаш и стал проверять.

— «Отражена попытка обхода», — прочитал он вслух. — Гринёв, а сколько их было?

— Ты мне сам говорил: до взвода.

— Я говорил «до взвода», потому что я их считал в сумерках и по вспышкам. Может, их было тридцать, а может, пятнадцать. — Он зачеркнул и написал сверху. — Ставь «группа до взвода, численность точно не установлена».

— Это тебе же хуже.

— Это мне же вернее, — сказал Седов. — Я не хочу через полгода объяснять, куда делся мой разбитый немецкий взвод, которого никто, кроме меня, не видел.

Потом он дошёл до времени и достал свою записную книжку. Рядом стояли два донесения, между ними — двадцать минут.

— Это ещё от шлюза, — сказал он, указывая на первое. — А здесь Дьячков пришёл сам, с двумя наблюдателями. По этому и ставь окончание прикрытия. Повозки у нас накануне прошли, в пятнадцать сорок; их сюда не мешай.

Я переписал время из его книжки, и Седов проверил строку прежде, чем дать её на подпись.

И вот тут я сделал то, из-за чего, я думаю, всё и получилось.

— Михаил, — сказал я. — Ещё одно. Низину мы всё равно не спасли. Окопы по нижнему краю залило, и погреба в трёх домах залило, и дорогу размыло. Я это впишу отдельной строкой, в тот же абзац.

Он поднял на меня глаза.

— Зачем?

— Затем, что если написать только про удержанный гребень, получится, что мы всё сохранили. А через неделю кто-нибудь придёт на этот рубеж и обнаружит, что нижних окопов нет. И тогда решат, что мы приукрасили и всё остальное.

Седов подумал.

— Пиши, — сказал он. — И про окопы, и что я их занять обратно не могу, пока не просохнет.

Он подписал.

А через день пришёл ко мне сам — и пришёл не с благодарностью.

Он пришёл под вечер, с полевой сумкой, отодвинул с моего стола котелок и развернул лист.

— Смотри, — сказал он без предисловия. — Это мой участок.

На листе была его позиция — не парадная, а такая, какой она была: две огневые точки на скате, резерв за перегибом, ход сообщения и связь.

— Вот тут, — он показал карандашом на промежуток между его левым флангом и моим правым, — у меня дыра. Метров полтора. У меня их не закрыть, у меня после двух суток на гребне двое заболели и одного увезли. Я туда пускаю патруль раз в час, и всё.

Я смотрел на лист и понимал, что месяц назад он бы мне этого не показал.

Месяц назад мы с ним соревновались — не вслух, но всерьёз: кто раньше доложит, кто меньше потеряет, кого начальство спросит первым. И в этом соревновании показать сопернику дыру в собственной обороне — значит вручить ему готовое замечание, которое он при случае обронит при комбате: у соседа, мол, полтора метра пустые.

— Почему сейчас показываешь? — спросил я прямо.

Седов усмехнулся.

— Потому что ты в рапорте не побоялся написать, что низину мы потеряли, — сказал он. — Значит, ты и это не станешь подавать как мою слабость. Если ошибусь — сам виноват.

Мы взяли наблюдателя и пошли смотреть промежуток вдвоём, пока было светло.

Дыра оказалась хуже, чем на бумаге. Между нашими флангами шла лощина, поросшая ольшаником, и по ней можно было выйти чуть не к самой деревне, и самое неприятное было в том, что с обеих сторон эту лощину было видно плохо: у него её закрывал перегиб, у меня — кладбищенская ограда.

— Наблюдателя сюда, — сказал я. — Вон на тот бугор, за оградой. Оттуда и твой перегиб виден, и моя сторона.

— Чей наблюдатель?

— Мой. А смотрит за общим. И докладывает обоим.

Мельников на следующее утро с двумя бойцами сделал в ограде проход — не пролом, а аккуратный лаз в том месте, где кладка уже осыпалась, и заложил его снаружи камнями так, что со стороны поля это была по-прежнему стена.

Седов присел перед лазом и проверил рукой край кладки.

— Сколько времени резерву выигрываем? — спросил он.

— Больше двух минут, — сказал Мельников, не отрываясь от работы. — Если по лощине полезут, вашему резерву надо будет попасть на наш участок. В обход через деревню — это семьсот метров и три минуты. Через лаз — сорок секунд.

Вечером мы прошли этот промежуток втроём — я, Седов и его связной, — и прошли нарочно так, как ходит связной обычно.

И на середине я остановился.

— Стой. Вот здесь ты как ходишь?

— Так и хожу, — сказал связной. — Вот по этой тропке, мимо куста, и на бугор.

Глава 5



— А ну пройди ещё раз до куста. На бугор не выходи: я уже вижу, где тебя покажет. Мы с Михаилом сместимся по ольшанику и проверим.

Мы прошли дном лощины и легли у крайних кустов, не выходя на поле.

Связной прошёл. Первые двадцать шагов его не было видно вовсе — он шёл в лощине. У куста он остановился. Дальше тропка шла на бугор и на пятнадцати шагах прорезала светлый край неба: там человека было бы видно целиком, от сапог до шапки.

— Вот тебе и патруль раз в час, — сказал Седов сквозь зубы. — Ходит по часам и на одном и том же месте показывается.

— Обойти можно?

— Можно. — Он привстал, прикинул. — Ему надо взять правее, вдоль этих кустов, и выйти к бугру с обратной стороны. Крюк шагов на семьдесят.

Крюк и сделали в тот же вечер, и Мельников с одним из седовских утоптал новую тропу и воткнул две вешки, чтоб ночью не сбиться.

Я тогда подумал — и думаю до сих пор, — что этот крюк в семьдесят шагов стоил дороже всего, что мы с Седовым друг другу сказали за зиму. Потому что немцы за нашими тропами смотрят так же, как мы за ихними, и кого-нибудь они бы на этом подъёме однажды сняли.

И этого человека не сняли — а кто он был, я так никогда и не узнал, потому что не случившиеся вещи не имеют имён.

Почта пришла ещё на четвёртый день после воды, вместе с подводой и с бочкой керосина. Разобрать её спокойно я смог только теперь, после разговора с Седовым и нашего обхода.

Мне было два письма, и я это понял по рукам Дьячкова, который их принёс: он держал их по-разному. Одно, в казённом сером конверте, он подал сразу, а второе, треугольником, сначала подержал в пальцах и потом положил сверху, с таким видом, будто оказывает услугу.

— Вам два, товарищ младший лейтенант.

— Спасибо. Иди.

— Иду, иду.

Серый конверт был от Веры Самойловой.

Я прочитал его прямо там, у стола, стоя, и читал его как служебную бумагу, потому что он и был почти служебной бумагой. Батарею перебросили — не далеко, километров за двенадцать, — и стояла она теперь так, что прежние наши ориентиры для неё стали бесполезны: тот перелесок, по которому мы с ней зимой привязывались, с её новой позиции закрывался высотой.

«Гринёв, — писала она своим твёрдым, почти печатным почерком, — я тебе пишу заранее, потому что потом будет некогда. Если ты со своим хозяйством окажешься на моём направлении — а по тому, куда вас тянут, ты окажешься, — нам нужно договориться о сигналах до того, как это понадобится, а не в ту минуту, когда понадобится. Прежний ориентир не годится. Сообщи, через кого будете уточнять и кто у тебя сейчас за связь. И ещё: у меня выбыло двое, один тяжело. Наводчика моего помнишь? Это он».

Я помнил её наводчика: длинный, неразговорчивый, с обмороженными ушами, зимой на льду он двадцать минут держал ствол на пустом месте, потому что она велела ждать.

Я позвал Осипова.

— Илья. Батарея Самойловой встала на новом месте, ориентиры у нас с ней разъезжаются. Вот, — я передал ему середину письма, ту часть, где было про привязку, — это тебе. Разберись и напиши мне, что нужно с нашей стороны: кто у них на телефоне, как выходим, какие позывные, и что делать, если провода нет.

Осипов прочитал, шевеля губами, и почесал бровь.

— Тут по-хорошему надо ехать, — сказал он. — На словах это всё равно не сойдётся, надо на местности показать друг другу, откуда что видно.

— Значит, договаривайся, чтобы съездить.

Ответ ей я написал коротко и по делу: что связь у меня Осипов, что он сам напишет и, если разрешат, приедет; что ориентир мы ей дадим новый, с нашей стороны, когда посмотрим высоту.

А потом приписал внизу, отдельно: «Веру Игнатьевну прошу сообщить, куда отправили наводчика и как у него. Если будет случай — напишу ему. И людям расчёта поклон».

Служебный лист я сложил и убрал в полевую сумку.

А треугольник остался.

Я его не открывал часа полтора — не из выдержки, а потому что в сарае в это время устраивали настил, кто-то ронял жерди, Мельников ругался, и читать было негде. Я дождался вечера, когда шестеро ушли на смену, и сел на лавку у печи, спиной к теплу.

Александра Тимофеевна писала не так, как Самойлова. Она писала строчками разной длины, и там, где ей не хватало слова, она ставила тире и шла дальше.

Она писала, что у них с марта тяжело, что привозят много обмороженных, и что это, оказывается, страшнее осколочных, потому что осколочные ясны сразу, а тут неделю не знаешь. Писала, что один её раненый — тот самый, с прошлой осени, с перебитым бедром, о котором она мне писала ещё зимой, — начал ходить. Не «пошёл», а начал: девять шагов вдоль стены, держась, и потом сел и заплакал, и она вышла, чтобы он этого не стеснялся.

А в конце было вот что:

«Андрей, я всё время читаю у вас про других людей. Кого вы вытащили, кого разместили, кому сделали лестницу. Это хорошо, и я это люблю читать, и всё-таки я вас спрошу

прямо, потому что иначе вы не ответите: вы между приказами живёте вообще или нет? Я не про подвиги. Я про то, ели ли вы сегодня сидя. Смеялись ли вы в этом месяце. Есть ли у вас место, где можно снять сапоги. Мне это важнее, чем взятые деревни, и вы, пожалуйста, не пишите мне, что это мелочи».

Я сидел с этим листком у печи и первые минут десять сочинял ответ — хороший, складный, с перечнем.

Мне было что перечислить. Мы вывели жителей до подрыва. Мы вычерпали четыре погреба. Мельников сделал лестницу, Игнат пустил постав, Рябцев снял мину, Седов получил своё в рапорте. Всё это было правдой, и всё это укладывалось в двадцать строк, и после таких двадцати строк она бы опять ничего про меня не узнала.

Я перечитал про раненого с девятью шагами.

И почему-то вспомнил не бой и не воду, а как Прасковья Филипповна стояла над разрезанным мешком с прозрачной картошкой и считала, сколько ещё там осталось, и как Мельников сказал ей: доставай, что достаётся с сухого края.

И написал.

Написал, что сегодня ел сидя, за столом, деревянной ложкой, и ложка была не моя — свою я потерял ещё на переправе, и мне дали чужую, с обгрызленным черенком, и я после переправы ем чужой ложкой и всё забываю выпросить себе другую. Что ели затируху из первой муки с мельницы, и что мука эта пахнет пылью и хлебом одновременно, и что вторую половину миски я доел уже почти во сне.

Написал про рукавицы — про то, что внутри каждой разновидности они все на вид одинаковые и что мои люди четыре дня носили чужие, пока Дьячков не выдумал метить их нитками, и что теперь у меня во взводе Савостин красный, а Бадаев синий, и что это единственное известное мне деление людей на цвета, которое никому не приносит вреда.

Написал про Нину: как она согнала с лавки мокрую тряпку перед тем, как фотограф стала снимать, и объявила, что у них не всегда тряпка на лавке. И про то, как Осипов перед майской сменой устраивал ей свой телефон — учебный, из двух старых аппаратов; по нему нельзя было никуда позвонить, кроме как в соседнюю комнату бабушке, и она звонила бабушке и требовала, чтобы та отвечала по правилам.

А потом написал то, чего писать не собирался.

Написал, что в первый день, когда люди возвращались, ко мне подошла хозяйка залитого дома — не Прасковья, другая, из третьего двора, — и спросила, что ей теперь делать с погребом, где вода стоит выше колена. И что я не нашёлся, что ответить. Что у меня было готовое решение про доски, про смену, про вёдра, и я всё это сказал, а она стояла и смотрела, и я понимал, что она спрашивала не про вёдра, и что на то, про что она спрашивала, у меня ответа нет, и не будет, и ни у кого нет.

Написал, что устал. Не героически, а обыкновенно: что сплю по четыре часа, что второй месяц не могу досуха высушить сапоги, что вчера заснул, не дописав фразы, и проснулся оттого, что уронил карандаш.

И что ни одной улыбки из тех, которые в этой деревне теперь есть, я себе не приписываю: их сделали лестница, мельница и печь, а мы только не мешали и немного носили.

Про то, что нас на днях двинут к высоте, я не написал ни слова — и не потому, что не доверял ей, а потому что письмо идёт через чужие руки и лежит в чужих сумках, и это не моя тайна, а тех шестерых, что сейчас стоят на посту.

В самом конце я отложил карандаш и вспомнил её руки: как она держала тряпицу под гребнем, пока я подстругивал надломленный шестнадцатый зуб. Гребень уехал с ней. Хотелось знать, держится ли моя починка, но про неё я уже спрашивал в прошлом письме.

Я приписал другой вопрос — один, короткий, не такой, на какой отвечают по форме. Помнит ли она, как Тимохин тогда потребовал из-за двери Дьячкову кружку и как мы после

этого не могли перестать смеяться. Я помнил, как она уткнулась мне в плечо, и хотел знать, помнит ли она так же.

Про встречу я написал отдельной строкой и осторожно: что на переформировании нам, по всему, дадут стоять недалеко от её хозяйства и что место я знаю, и что я буду там при первой возможности. И тут же приписал, что срок называть не берусь и что если не выйдет — пусть она из этого не делает вывода ни обо мне, ни о нас, потому что даты здесь назначает не тот, кто хочет встретиться.

Игнат пришёл к нам в сарай на шестой день, с мукой на плечах и с мукой в бороде.

Он поставил мешок, вытер руки и стал смотреть на наш стол. Карта лежала развёрнутая, придавленная по углам камнями, и он смотрел на неё, наклонив голову набок, как смотрят на чужую вещь, к которой не знают, можно ли прикоснуться.

— Что, Игнат Прохорович, узнаёшь? — спросил Мельников.

— А погоди.

Он подошёл ближе. Потом взял карту за угол и повернул её к себе — не на девяносто градусов, а как-то наискось, неправильно, так, что север ушёл вбок.

— Э, э! — сказал Рябцев. — Ты её так не верти.

— Мне так видно, — сказал Игнат. — Мне надо, чтоб дорога от деревни шла в ту сторону, в какую она идёт.

И ткнул чёрным пальцем:

— Вот. Ломня.

— Что?

— Ломня. Каменоломня. Тут камень ломали, ещё при царе и после. Вот дорога вывозная, она в горку идёт, а тут отвал, а вот тут, — он провёл пальцем короткую дугу, — тут вход, штольней. Их две было, первая обвалилась ещё до войны, а вторая рабочая.

Я поднялся так быстро, что чуть не сшиб козлы.

На карте в этом месте был штрих, который мы с Рябцевым вторые сутки принимали за обозначение обрыва, и рядом — два маленьких квадратика, которые мы посчитали сараями.

— Игнат Прохорович. Штольня глубокая?

— Глубокая, — сказал он с удовольствием. — Там ходы саженой на полтора вглубь, я мальчишкой лазил. И вентиляция была, дыра сверху, её решёткой закладывали, чтоб скот не провалился. И ход этот идёт вот эдак, — он опять повёл пальцем, и палец у него пошёл под самую высоту и вышел с той стороны, — и там, за высотой, второй выход, к оврагу. Через него камень возили, когда верхнюю дорогу распутицей развозило.

В сарае стало тихо.

Все, кто там был, поняли одно и то же одновременно: если под высотой есть ход, который начинается с нашей стороны и выходит с той, — значит, есть способ оказаться в тылу у немецкого узла, не поднимаясь по голому скату под пулемёты, из-за которых мы вторую неделю не можем даже подойти к этому рубежу.

И Игнат стоял и рассказывал дальше — про камень, про то, как возили, как отец его там работал, — и рассказывал он так, будто туда можно пойти хоть сейчас, с фонарём.

— Игнат Прохорович, — сказал я. — Стой. Ты когда там был в последний раз?

Он остановился на полуслове.

Он стоял и думал, и я видел, как у него меняется лицо: как из человека, который рассказывает про своё, он делается человеком, который понимает, о чём его спросили.

— В тридцать девятом, — сказал он наконец. — Осенью. Мы туда за плитняком ездили, погреб класть.

— А после? После того, как немец пришёл?

— После не был. — Он помолчал. — Туда с ноября не пускают. Там у них что-то. Я издали видел — ездят.

— Значит, слушай, что у нас получается, — сказал я. — Что там есть выработка и что она идёт под высоту, я тебе верю, и что второй выход к оврагу — тоже верю. Это ты видел своими глазами и помнишь с детства, и такие вещи не выдумываются.

— А чего ж тогда?

— А того, что с тридцать девятого года прошло три года и война. Первая штольня у тебя обвалилась сама, без всякой войны. Могла обвалиться и вторая. Ход могли завалить, могли заложить, могли сами немцы там что-нибудь сделать. И вентиляционную дыру твою могли засыпать.

Игнат насупился.

— Я не вру.

— Ты не врешь, — сказал Рябцев, не поднимая головы от карты. — Ты рассказываешь про тридцать девятый год. Это очень ценно. Просто это не сегодняшний день.

Он уже переносил на нашу схему то, что можно было перенести: направление выработки — стрелкой, отвал, вывозную дорогу, два строения. И подписал сбоку, тем же порядком, что и раньше: «со слов местного жителя, 1939 г., состояние на сегодня неизвестно».

Смотреть ходили на другой день, втроём: я, Рябцев и Седов, и с нами наблюдатель с трубой.

Мы легли на опушке за отвалом старой выработки, километрах в двух от высоты, и лежали часа три, и за эти три часа узнали немного, зато узнали точно.

Ограждение было. Не колючка в три ряда, как у них бывает у складов, а один ряд кольев с проволокой, поставленный явно недавно — колья были свежие, белые на срезах, и стояли неровно. Ограждение шло по дуге, охватывая площадку перед скатом, и упиралось концами в скалу.

Вход мы не увидели.

Вернее, мы увидели место, где он должен был быть по рассказу Игната, — и там, в тени под скалой, было что-то тёмное, но что именно, разобрать не удавалось: мешало то ли укрытие из брёвен, то ли просто тень.

А ещё мы увидели людей.

Они выходили дважды. Первый раз — четверо, они вынесли что-то в корзинах и высыпали в отвал, и ушли обратно. Второй раз — человек восемь, гуськом, и они шли медленно и не строем, и позади них шёл один с оружием.

Наблюдатель отдал мне трубу молча.

Я смотрел долго. У тех, кто шёл, были обмотаны головы — тряпками, мешковиной, — и одежда на них была не немецкая и не наша, а всякая, и один был босой, в мае, и шёл он, выбирая, куда ставить ногу.

— Работают, — сказал Седов сквозь зубы. — Наши или местные.

— Или пленные, — сказал я, не отрываясь от трубы.

Седов помолчал и придвинулся к окуляру, когда я передал ему трубу.

— Или пленные.

Мы лежали ещё. Часовой у ограждения прошёл дважды в одну сторону и один раз в другую, и на обратном пути остановился и закурил, повернувшись спиной к ветру, и по тому, где он встал, стало видно, что ближняя бровка отвала и ложбина за нею скрыты от него каменным уступом.

Обратно шли молча, и первым заговорил Седов — уже у деревни.

— Гринёв. Я вот о чём думаю. Если там внутри люди, то в тот день, когда мы туда полезем, они оттуда побегут. Все сразу. И побегут они не туда, куда нам надо, а куда попало, по открытому.

— Побегут, — сказал я.

— Значит, кто-то должен заранее знать, откуда их можно прикрыть. — Он остановился и показал назад, на высоту. — Вон тот бугор слева и вон та каменная гряда. Если я туда посажу пулемёт и заранее пристреляюсь по площадке перед ограждением, я смогу не дать по ним стрелять, когда они побегут. Я это должен сделать до, понимаешь? Не в тот час, когда всё начнётся, а сейчас, пока можно спокойно посмотреть и посчитать.

— Посмотри и посчитай, — сказал я.

Я согласился сразу, и не из великодушия. Просто это был тот редкий случай, когда человек предлагает работу, которая не даст ему ни одной строки в донесении: он не возьмёт высоту, не захватит пленного и не отобьёт атаку, он просто заранее выберет две площадки, чтобы чужие люди, которых он в глаза не видел, добежали живыми.

Вечером мы сидели над схемой уже вчетвером — я, Рябцев, Седов и Мельников — и спорили о вещах, которых не знали.

— Мне нужен воздух, — говорил Рябцев. — Если штольня рабочая и там люди, воздух откуда-то идёт. Игнатова дыра сверху — если она открыта, над ней в мороз стоял бы парок, а сейчас не мороз. Но в дождь или на рассвете, по росе, её всё равно видно: трава вокруг другая. Это можно посмотреть снаружи, не лезть.

— Сколько тебе на это?

— Ночь и утро. И наблюдателя с трубой, чтоб смотрел за дырой всё это время: если оттуда выходит воздух, туда птицы не сядут, и трава не такая, и если там решётка — её видно по тени.

— Следы, — сказал Мельников. — Ещё следы. Они там ездят. Значит, есть колея, и по колее видно, гружёные ездят или порожние. Если гружёные туда и порожние обратно — они туда что-то возят. Если наоборот — вывозят камень.

— Или не камень, — сказал Седов.

— Или не камень.

Мы расписали, кто что смотрит, и на этом остановились, потому что дальше начиналось то, чего нельзя было узнать снаружи: что внутри.

Я назначил на завтра три пары: Юдина с Савостиным — наблюдение за вентиляционной дырой и за верхом; Дьячкова с Бадаевым — за дорогой и колеёй; Рябцева с его сапёром — подход и осмотр края ограждения с безопасного расстояния. Седов брал на себя огневые площадки. Разведка сухого рубежа была назначена через неделю, и к этому сроку мне нужно было прийти не с игнатовым рассказом, а хоть с чем-нибудь проверенным.

А ночью, во втором часу, меня разбудил Мельников.

Он тронул меня за плечо и, когда я сел, сказал негромко:

— Товарищ младший лейтенант. Пост у оврага привёл мальчишку.

— Какого мальчишку?

— Вышел из-за отвала, сам. Идти почти не может.

Я натянул сапоги в холодном сарае и прошёл за Мельниковым через двор в сени Прасковьи.

Его посадили на лавку у порога, и он сидел, весь подавшись вперёд, и мелко трясся. Ему было лет пятнадцать-шестнадцать, и он был худ до того особенного состояния, когда у человека делаются видны кости запястий; ватник на нём был чужой и короткий, и штаны заправлены в обмотки из мешковины. Всё на нём — волосы, брови, плечи, руки до локтя — было покрыто ровной белой пылью, и пыль эта была не грязь и не мука, а известняк, и от неё он казался седым.

— Воды, — сказал я.

Дьячков принёс кружку, и парень взял её обеими руками и стал пить, и зубы стучали о край.

— Не всё сразу, — сказал Дьячков. — Ты по плоточку. Много сразу нельзя.

Я снял с гвоздя чей-то сухой ватник и накинул ему на плечи, и сам сел напротив, на корточки, чтоб не смотреть сверху.

— Как звать?

— Аркадий, — сказал он. Голос был сиплый.

— Аркадий, ты сейчас ничего мне не рассказываешь. Ты сидишь и греешься. Понял?

Он кивнул и тут же, не дожидаясь, заговорил, потому что держал это в себе, видимо, всю дорогу:

— Там... дяденька, там наши.

— Погоди.

— Там наши, их держат, — сказал он, и его затрясло сильнее. — Их гоняют работать.

Прасковья, поднявшаяся на голоса, уже совала ему в руки кусок хлеба, и он взял и стал есть, и я подождал, пока он проглотит первый кусок.

Я мог бы сейчас спросить у него всё сразу — сколько людей, сколько охраны, где вход. Я поймал себя на этом и заставил себя начать с другого.

У меня в сарае, на столе из двери, лежала наша схема, и на ней оставалось пустое место — то самое, куда упиралось всё: ход от входа под высоту, и на нём, по рассказу Игната, ничего, а по здравому смыслу — что-то должно быть, потому что выработка в полтора саженей не бывает одной прямой кишкой.

Я сходил за схемой через двор и положил её на лавку рядом с ним, повернув так, как поворачивал Игнат, — чтоб дорога шла в ту сторону, в какую идёт.

— Аркадий. Вот это вход, вот это высота. Ты оттуда сейчас вышел?

Он посмотрел, жуя, и кивнул.

— Скажи мне одно. Внутри ход один или он где-нибудь делится?

Он перестал жевать.

— Делится, — сказал он. — Там дальше вправо ещё один, ниже. Туда вода капает. Там нас и...

Он остановился и посмотрел на меня снизу, и глаза у него были совершенно взрослые.

— Дяденька, — сказал он, — их же завтра опять погонят. Они там мины ставят. Немцы им дают ящики и показывают где, а сами стоят сзади с автоматом и близко не подходят.

Глава 6



После первых слов о минах Аркадий поднялся с лавки и подошёл к печке. Рябцев уже пришёл из сарая; Игната разбудили, и он принёс в дом Прасковьи старый план. Я предложил мальчишке табурет, но он остался стоять.

Ему поставили табурет у печки, Прасковья сунула ему в руки кружку с кипятком, забелённым молоком, а он стоял, держал кружку двумя руками и переступал с ноги на ногу, и смотрел не на нас, а на дверь. Так стоят люди, которые за последние сутки поняли, что сидеть — опасно.

— Ты сядь, — сказала ему Прасковья. — Сядь, тебе говорят. Ноги-то у тебя мокрые по колено.

— Я постою.

— Господи, да что ж ты как не свой.

— Прасковья Филипповна, — сказал я. — Пусть стоит.

Она посмотрела на меня сердито и ушла за занавеску, и оттуда слышно было, как она что-то двигает и перекладывает, и вскоре она вынесла ещё ломоть хлеба, положила на стол поближе к Аркадию.

— Рассказывай, да жуй между словами, — сказала она. — Нечего пустому стоять.

Мальчику было лет пятнадцать. Он был худой той худобой, при которой на шее видно каждое сухожилие, в ватнике не по росту и в немецких ботинках без шнурков, обмотанных мешковиной, и у него на лице, на лбу и на виске, была тонкая белая пыль, которая не стёрлась ни от дождя, ни от пота, — и эту пыль я узнал раньше, чем он начал рассказывать, потому что у нас в городе в мирное время возили такой камень на стройку, и у грузчиков были такие же белые брови.

— Аркадий, а по отцу?

Он поднял на меня глаза.

— Павлович.

— Я Гринёв, Андрей Кузьмич, командир взвода. Вот это Рябцев Константин, сапёр. Вот это мельник Игнат Прохорович, ты его знаешь. Сейчас ты будешь рассказывать, и я тебя буду перебивать, и ты не обижайся. Я тебя буду перебивать не потому, что не верю, а потому, что мне надо знать, где ты видел сам, а где тебе кажется.

— Я всё видел, — сказал он быстро.

— Вот и проверим.

Игнат расстелил на столе то, из-за чего я его два дня просил ходить по своим знакомым: старый план выработки, синюю копию на полотняной подкладке, с печатью промкомбината и чьей-то припиской чернилами в углу. Рядом Рябцев положил немецкую карту из того цилиндра, который мы нашли после спада воды, — карту минных полей, из которой проверенным оказался один квадрат и один оказался пустым.

Два листа лежали рядом, и между ними была вся наша задача.

Я поставил его кружку на край стола и придвинул табурет. Аркадий опёрся коленом о сиденье, вытер ладонь о ватник и взял карандаш.

— Рисуй, — сказал я, перевернув мельничную ведомость чистой стороной.

Он нарисовал быстро, уверенно и неправильно.

Я это понял не сразу, а по тому, как Рябцев стал двигать головой. Аркадий рисовал ход от себя, от выхода внутрь, потому что помнил дорогу в том порядке, в каком шёл, — и все повороты у него легли в зеркало: правое стало левым.

— погоди, — сказал Рябцев, придерживая лист и касаясь ногтем кривой линии. — Ты вот тут куда повернул?

— Налево.

— А шёл ты куда — в гору или из горы?

Мальчик замолчал и повёл рукой в воздухе, и я увидел, как он сам себя путает.

Я снял с безмена, висевшего у Прасковьи у двери, маленькую медную гирику и поставил её на бумагу.

— Вот это, — сказал я, — место, откуда ты вылез на воздух. Вот эта гирика. Ты теперь рисуй не как шёл, а как будто ты идёшь туда обратно, от гирики. И рассказывай вслух, что было под ногами, что на голове и чем пахло. Не называй ни квершлагов, ни штреков, ты их не обязан знать.

Он начал снова, от гирики, и вышло медленнее и совсем иначе.

— Сперва по канавке. Она узкая, в ней вода по ладонь и лёд по краям. Там надо ползти, и лопатки чиркают по верху. Её, наверно, на четвереньках и не пройти большому... я там плечами застревал, я вот так поворачивался, — он показал, выкручивая плечо, — боком.

— Сколько по ней?

— Долго. Я считал до двухсот, а потом сбился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.